

Надин Гордимер

Дом Инкаламу

(сборник рассказов)

Об этой книге

Человек приезжает в чужую страну и хочет понять ее.

Не то, о чем ежедневно говорят по радио, телевизору, в газетах. Нет! То, о чем люди помалкивают при посторонних, но чем они живут на самом деле.

Еще на родине ему дали имя и адрес женщины, к которой следует обратиться,— она поможет разглядеть подлинную душу этой страны, сведет с людьми, и он узнает то, что тщательно скрывается властями от чужеземцев.

Но эта женщина, что она может для него сделать? Сказать, что большинство людей, которые могли быть ему полезны, уже за решеткой? И что она не хочет ставить под удар других, тех, кто пока что уцелел?..

Она зовет к себе в общем-то случайных людей. Каждый из них по-своему преуспевает, заплатив за успех своей совестью. Но конечно, преуспевать хотелось бы больше, обиды есть и у них, посетовать хочется. Показать хоть кукиш в кармане.

Гость принимает все это за чистую монету.

Хозяйку все-таки одолевает стыд, что она обманула человека, который, вероятно, этого не заслужил. Она звонит гостю, дает ему понять, что он так и не увидел тех, кого хотел. Так ничего и не узнал...

Но ему надо уезжать, времени уже нет. И не хочется расставаться с иллюзией, что ты что-то все-таки понял...

Это один из рассказов.

Да и другой начинается словами:

«Может, вы думаете, что и впрямь все поняли; но, живя за пять-шесть тысяч миль отсюда, не слишком торопитесь с выводами; вот если б вы жили здесь, то понимали бы кое-что»> другое...»

Чужую беду — рукой разведу. Эта мудрая присказка относится к бедам чужой страны, чужого народа, может быть, больше, чем к горестям отдельного человека; их понять еще труднее. Вот эту сложность и пытается показать Надин Гордимер.

Ее родина — одна из стран, понять которую особенно трудно. Уже много лет как власти воздвигли вокруг нее железный занавес. Далеко не каждому журналисту дадут визу на въезд.

А наших соотечественников нет там уже очень давно. Увидеть тот край их глазами мы не можем. Там нет ни наших дипломатов, ни журналистов, ни ученых.

Южно-Африканская Республика... Трансвааль. Кейптаун. Золото. Алмазы. Расизм, расизм, расизм...

Как много пишут об этой стране, и все-таки насколько же мало мир ее знает!

Пожалуй, достаточно привести только один пример. До середины 1976 года за пределами Южной Африки мало кто слышал такое слово: Соуэто. А если и слышал, то представлял себе только, что это населенный африканцами пригород Йоханнесбурга, крупнейшего во всей Африке промышленного центра.

Но в 1976-м Соуэто восстал. Как факелы, запылали дома официальных учреждений, перевернутые автобусы и грузовики. О сражениях полиции с повстанцами заговорили газеты во всех уголках земли.

И вот только тогда мир узнал, что существует громадный город, с населением в миллион двести тысяч человек, который не обозначен на картах. Это — Соуэто.

Жители «черного» города — Соуэто — обслуживают жителей «белого» — Йоханнесбурга, но по числу жителей Соуэто в два раза больше Йоханнесбурга.

Как же получилось, что мир узнал об этом громадном городе лишь после того, как его жители подняли открытое восстание?

Да очень просто. За четверть века существования Соуэто власти не пускали туда посторонних, даже жителей страны, если они сами не обитали там. А иностранцы в лучшем случае могли повидать несколько центральных улиц Соуэто, да и то лишь из окна экскурсионного автобуса.

Но если даже о городе так мало знали, что уж говорить о его обитателях! Каковы эти люди? Как живут? О чем мечтают? Чему печалются?

Конечно, на любой такой вопрос можно ответить в самой общей форме, то есть схематично. Ну а конкретно? Ведь это реальные, живые люди. И их в одном Соуэто больше, чем во многих африканских государствах, таких, как Габон или Лесото, Ботсвана, Свазиленд.

А таких городов, как Соуэто, пусть не столь громадных, в Южно-Африканской Республике не один десяток...

Это только один пример. О сложнейшей жизни большой страны мир знает мало. Социально-экономической и политической литературе, которая издается в самой Южно-Африканской Республике, особенно доверять не приходится.

Когда-то Фридрих Энгельс писал, что из романов Бальзака он «даже в смысле экономических деталей узнал больше..., чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых».

При самом глубоком уважении к таланту Надин Гордимер я далек от мысли о том, чтобы проводить прямую параллель с Бальзаком. Но свою родину эта женщина знает и рассказывает о ней честно, в том подлинном, единственно верном духе патриотизма, о котором когда-то писал Некрасов:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

Произведения Надин Гордимер хорошо известны в нашей стране. Да и о ней самой у нас писали не раз. С «Лживых дней», первого ее романа, изданного в 1953 году, во всех ее многочисленных романах и рассказах — и боль за судьбу родины, и мысли о причинах ее трагедии.

В отличие от многих южноафриканских писателей, Надин Гордимер не эмигрировала, хотя немало ее произведений и подвергалось запрету. Почти всю свою жизнь она провела в Трансваале, самой промышленно развитой провинции Южно-Африканской Республики, в самом большом городе Трансвааля, да и всей страны — Йоханнесбурге, «Золотом городе», центре крупнейшего в мире золотопромышленного района. Здесь, в этом бурном индустриальном котле, изо дня в день встречаются и сталкиваются люди самых разных национальностей, профессий, взглядов...

Свои наблюдения и размышления Надин Гордимер запечатлела на страницах романов «Мир чужих», «Возможность любить», «Покойный буржуазный мир» и нескольких других, в сборниках «Вкрадчивый голос змия», «Шесть футов земли», «След Пятницы», «Оглашению не подлежит» и самых последних, из которых в основном и взяты представленные в этом небольшом сборнике рассказы.

Надин Гордимер пишет не только о своей родине. И ее надежды связаны не только с верой в свой народ, но и с верой в будущее тех африканских народов, которым уже удалось освободиться от расистско-колониальных режимов. Свидетельство тому — один из рассказов этого сборника «Дом Инкаламун».

Но все же в центре внимания Гордимер — ее собственная страна. Ее романы и рассказы помогают увидеть многие черты облика Южно-Африканской Республики — те черты, которые правителям этого государства хотелось бы скрыть. А нам

разглядеть поподробнее лицо одного из самых неприглядных режимов современного мира куда как важно...

С годами писательница все пристальнее всматривалась в облик своей отчизны, все глубже старалась понять характер ее обитателей. Черных. Белых. Цветных — так на Юге Африки называют метисов. Выходцев из Азии. Сложное переплетение социальных противоречий с расовыми и национальными представлениями и предрассудками. Государственную политику, ее способы разжигания противоречий, усиления расовой и национальной розни.

И в лаконичных рассказах этого сборника отлично выражены плоды размышлений Надин Гордимер. Зримо видишь, как полицейский режим калечит души людей, убивает в них все самое лучшее, подлинно человеческое, отучает быть простодушными и искренними, заставляет приспосабливаться, изворачиваться, ежеминутно кривить душой.

Видишь, как национальные и расовые предрассудки уродуют жизнь, в лучшем случае обедняют ее и крайне осложняют отношения между людьми, зачастую же приводят к поистине страшным трагедиям.

Надин Гордимер по южноафриканской расовой классификации принадлежит к высшей, привилегированной касте *общеевропейцев*. Она — белая. И все же она борется против расизма белых, европейцев. Какое мужество для этого нужно!

Легко клеймить чужой расизм, чужой национализм. При этом вполне можно оставаться и расистом и шовинистом. Надин Гордимер выдержала испытание на подлинный патриотизм и подлинный интернационализм. Поэтому ей веришь. Веришь, что она действительно помогает понять и далекую страну, и это сложнейшее создание природы — человеческую натуру.

Аполлон Давидсон

Пробуждающаяся Африка

Он сейчас в тюрьме, так что имени его я называть не стану. Как бы не вышло чего плохого, понимаете ли. Может, вы думаете, что и впрямь все поняли; но, живя за пять-шесть тысяч миль отсюда, не слишком торопитесь с выводами; вот если б вы жили здесь, то понимали бы кое-что другое: нам тут известно, что внешние проявления преданности друзьям — это для детишек, пусть себе держатся за руки на школьной площадке; а для нас это роскошь, ненужная и, быть может, опасная. Если я скажу, что был другом такого-то — чернокожего, который должен предстать перед судом по обвинению в государственной измене, какой ему от этого прок? А ко мне это лишний раз привлечет внимание и, как знать, быть может, окажется той, самой последней, решающей каплей... Да он бы первый со мной согласился...

Не то чтобы это сыграло такую уж важную роль, не будь заведенное на меня досье и без того достаточно пухлым; и не то чтобы он в самом деле был мне таким уж другом. Нет, вам не понять совсем другого: до чего у нас здесь все смутно, шатко. Мы до сих пор не знаем толком, что можно, а чего нельзя; как определить, что дружба, а что нет, если решительно все усиливает твой внутренний разлад — законы, и сомнения, и дух протеста, и осторожность, и, не в последнюю очередь, отвращение к себе... Разумеется, я говорю о дружбе между черными и белыми. Коль скоро ты, приятель, согласен общаться только с белыми в их загородных клубах и утопающих в зелени предместьях (если сам ты белый) или только с черными в их локациях и пивнушках (если ты черный),—это на тебя не распространяется, и ты с миром пройдешь весь жизненный путь до своего

сегрегированного кладбища. Но ни он, ни я на такое не соглашались.

Я начал общаться с черными, когда был студентом,— из оскорбленного чувства справедливости, как принято выражаться в таких случаях, а еще — из острого любопытства. Для этого имелись два способа. Первый — через Добровольную студенческую трудовую организацию; члены ее, белые юноши и девушки, отправлялись на казенный счет куда-нибудь в сельскую местность, разбивали лагерь и жили там веселой коммуной, строя школы для африканских детей. Обычно в лагерь наезжало также несколько студентов из сегрегированных университетов для африканцев и цветных, и для нас была известная прелесть новизны в том, чтобы ночевать бок о бок с ними; впрочем, мы понимали, что среди наших строителей-добровольцев наверняка затесались шпики из Особого отдела (*Отдел южноафриканской полиции, следящий за соблюдением так называемого «закона об охране нравственности», который запрещает «смешение рас»). (Здесь и далее — примечания переводчика.)

), и потому мы не осмеливались заигрывать с цветными и чернокожими девушками. Другим, не столь обременительным, способом были выпивки с джазистами, художниками, журналистами и разными людьми, мнящими себя поэтами и актерами,— эти тянутся к белым отчасти потому, что такие люди вообще считают себя вправе жить как им заблагорассудится, а отчасти потому, что у белых они встречают одобрение и поддержку, столь дорогие их сердцу. Я попробовал было первый способ, но второй оказался для меня более подходящим; да и потом, с какой стати я должен помогать этому правительству, делая для чернокожих детей то, что оно обязано делать для них само?

Я — архитектор и к делам африканцев приобщился в качестве человека небесполезного, а именно стал писать декорации для смешанной драматической труппы, которую набрал белый режиссер. Вообще-то среди горожан, пожалуй, нет групп более сплоченных, чем такие вот театральные коллективы, а расовая проблема сближала нас еще больше. Я имею в виду вовсе не то, что подумали вы; одним словом, вовсе не личное мое отноше-

ние к «этим черным» и всякую такую чушь. Нет, я о том изнурительном напряжении, которое требовалось от нас изо дня в день, чтобы обходить расовый барьер, проскакивать под ним или брать его с маху, ибо расовые законы гробили наши постановки и отравляли нам жизнь. Нам приходилось постоянно держать в памяти, что надо выписать чернокожим актерам ночные пропуска, а то как бы их не задержали по дороге домой за нарушение комендантского часа для черных; нам приходилось часами торчать в Управлении по делам банту, чтобы выбить вид на жительство для тех актеров, кому закон предписывал «вернуться» в сельскую местность, где им «по этническому принципу» положено проживать и откуда они якобы приехали в город, хотя на самом деле они там в жизни не бывали; нам приходилось решать, кто же из нас сумеет настолько ловко разыграть из себя подхалима, чтобы выудить у комиссара по делам банту бумажку, разрешающую нашей труппе беспрепятственно переезжать из зоны поселения одной расовой группы на территорию другой, или в каком-нибудь городишке так обработать муниципального чиновника, чтобы тот уговорил свой муниципалитет предоставить нашей смешанной труппе зрительный зал, куда допускаются только белые. Жизнь чернокожих актеров была в наших руках, потому что они были черные, а мы белые, а стало быть, могли — и должны были — постоянно за них ходатайствовать. Не подумайте только, что благодаря этому отношения наши были сплошной идиллией; напротив, это приводило к бесконечным взаимным обидам и распрям. Так, одна белая женщина, которая работала у нас как каторжная — ведала и рекламой, и гардеробом,— несколько лет не разговаривала со мной за то, что я упрямил ее одолжить свою малолитражку одному из наших черных парней, который не поспевал на последний поезд в локацию из-за того, что задерживался в театре, и тот парень

потом продержал у себя машину субботу и воскресенье, а добраться до него женщина эта не могла никакими силами, потому что в локации, как вы сами понимаете, редко у кого есть домашний телефон, и если кто-нибудь из черных затеряется среди этих крольчатников, его не отыщешь до тех пор, пока ему самому не заблагорассудится

вновь объявиться в «белой» части города. Когда же тот парень наконец объявился, то в разговоре со мной не преминул язвительно пройтись по адресу белых сук, которые «покровительствуют» черным, а сами в глубине души в каждом из них видят слугу. Но эти споры, обиды и недоразумения были не просто одним из доказательств нашей близости — как, скажем, вечеринки, веселые вылазки и романы,— нет, они были решающим ее доказательством: мы сблизились настолько, что к этим спорам, обидам и недоразумениям относились всерьез.

Он тоже одно время был членом нашей теплой компании. Сперва он работал где-то экспедитором, затем «управляющим» и вышибалой в танцевальном клубе для черных. А в свободное время исполнял какую-нибудь рольку в наших спектаклях и вообще был на подхвате; в конце концов выяснилось, что он превосходно справляется с публикой во время наших гастрольных поездок. Его обаяние (этакий молодой толстяк, броско и весело одетый) безотказно действовало на наших зрителей в локациях, чье настроение никогда нельзя было предвидеть заранее: в одном месте они являлись на спектакль в лучшей своей одежде — той самой, в которой ходили по воскресеньям в церковь,— такие чинные, застегнутые на все пуговицы, и, казалось, считали для себя неприличным засмеяться или хоть как-то отреагировать на то, что происходит на сцене, а в другом старались прорваться без билета и штурмовали двери, предводительствуемые каким-нибудь «цоци» — горластым хулиганом, который ничего и никого не желает слушать. Он был близким другом, так сказать, второй, пассивной, половинкой моего близкого друга Элиаса Нкомо.

Но тут я умолкаю. Как рассказать об Элиасе? Ведь я и сейчас, по прошествии пяти лет, не знаю даже, как о нем думать.

Элиас был скульптор. Служил где-то рассыльным или еще кем-то в этом духе — словом, выполнял одну из тех жалких работенок, на какие только и может рассчитывать грамотный молодой африканец в золотопромышленном городке близ Йоханнесбурга. Кто-то кому-то сказал, что он талантлив, еще кто-то направил его ко мне — по-видимому, путь каждого африканца, желающего обрести себя, поначалу неизбежно идет через белого. Не знаю опять же, как описать вам его скульптуру. Он приехал поездом на Центральный вокзал Йоханнесбурга и вышел на платформу для черных, держа в руках какой-то громоздкий предмет, завернутый в утреннюю газету. Был он в темном, такой хрупкий, круглоголовый, с маленькими ушами, брови сосредоточенно сведены; когда же он понял, что дожидаящийся в машине белый, по всей вероятности,— я (о том, что я его встречу, мы условились заранее), лицо его разгладилось в широкой улыбке, виноватой и самоуверенной одновременно. Я отвез его к себе «на квартиру» (про жилье он всегда говорил не «дом», а «квартира»), и здесь он развернул свой объемистый пакет. То, что представилось моим глазам, нисколько не напоминало глыбы диорита или песчаника, какие вам приходилось видеть в музеях Нью-Йорка, Лондона и Йоханнесбурга под названием «Пробуждающаяся Африка» или «Дух предков». Передо мной был козел, а точнее некое козлоподобное существо (так же как, скажем, кентавр — существо лошадеподобное и человекоподобное), вырезанное из какого-то слоистого узловатого дерева. Оно было восхитительное, это существо (мне захотелось его потрогать), оно было трогательное — этакое воплощение эволюционного развития, зверь-человек, тонкая работа по грубому дереву,— и вместе с тем была в нем какая-то беззащитность (протянутая было рука опустилась сама собой). Я спросил

Элиаса, знакомы ли ему козлы работы Пикассо. О Пикассо он слышал, но ни одной его работы видеть ему не доводилось. Я показал ему репродукцию — знаменитый бронзовый козел, тот самый, что стоит в доме художника, — и с той поры у всех его зверей был такой же дерзко-веселый пах, как у пикассовского козла; впрочем, это единственное «влияние», какому он поддался. Как я уже говорил, то или иное вмешательство белого в судьбу такого человека, как Элиас, неизбежно; мое же выражалось в том, что я всячески ограждал его от владелиц художественных галерей — меценатствующих дам, которые жаждали ему протезировать, и от тех белых художников и скульпторов, которым хотелось стать его наставниками. Я отдал ему старый гараж (да, совершенно верно, для этого мне пришлось вывести

оттуда машину) и оставил его в одиночестве среди множества чурбаков.

Но в одиночестве Элиасу не работалось. Гараж так и не стал для него «квартирой». Если человек всю жизнь провел в тесном людном дворике, то для того, чтобы сосредоточиться, ему, видимо, нужны какие-то отвлечения. Этим я, в сущности, только хотел сказать, что он любил компанию. Сперва он приезжал ко мне на субботу и воскресенье, а потом, когда ему удалось продать несколько скульптур, бросил работу рассыльного и обосновался в гараже более или менее постоянно. Мы с ним вдвоем оборудовали ему «квартиру»: сделали потолок, подвели воду и так далее. То, что он жил в белом предместье, было, конечно, нарушением закона, но у людей вроде Элиаса и меня подобного рода законы лишь развивают изворотливость, и у нашего строительного инспектора не возникло никаких подозрений, когда я заявил ему, что переоборудую гараж под жилье для тещи. Но вот Элиас переехал, и жить ему стало легче, у него постоянно ночевал кто-нибудь из приятелей, я уж не говорю о девушках; иногда это были пугливые, невзрачные создания — чуть ли не судомойки или что-то вроде того, — которые величали мою жену «мадам» (*униженное обращение мулатов к белой женщине), если им случалось наткнуться на нее в саду по дороге к гаражу, а иногда актрисы из нашей труппы — размалеванные, в париках, — эти курили и болтали с моей женой, сидя с ней рядом, пока она кормила грудью малыша.

А чаще всех бывал там он, толстяк и весельчак, администратор, умевший отлично ладить с публикой; он был женат, но, как это нередко бывает у нас, мужчин, старая дружба значила для него больше, чем жена и дети; если это типично для черных, значит, я сам под кожей черный; а вообще-то Элиас, как и он, здорово втянулся в жизнь труппы: например, сделал из папье-маше чудесных богов для пьесы одного нигерийца, «духов предков», забавных и жутких одновременно, а как-то раз, когда нам понадобился певец, неожиданно выяснилось, что у Элиаса голос и он может пропеть хвалебную песнь с той же выразительностью и легкостью, что и самый первый исполни-

тель негритянских песен, не помню уж, как его фамилия, и с тех пор в гараже часами гремел голос Элиаса — он пел за работой. Казалось, Элиасу лучше всего работается, когда тот, другой, рядом; он обычно сидел вытянув толстые ноги, сгибал и разгибал носки модных туфель, отряхивал очередную сверхмодную куртку, менял пластинки и произносил нескончаемый монолог, а Элиас, орудуя резцом и стамеской, время от времени отзывался — то довольным урчанием, то одобрительным хмыканием, то внезапными всхлипами тихого, почти беззвучного смеха — всё ответы, мыслимые лишь, когда разговор ведется на каком-нибудь из африканских языков. Да, они говорили по-своему, и я никогда не знал о чем.

Как ни старался я оградить Элиаса от покровителей, случилось неизбежное — ему стали протезировать (и разве не я сам сделал первый шаг в этом направлении, отдав ему свой гараж?). Одна картинная галерея объявила себя его агентом. На открытии своей персональной выставки Элиас расхаживал в пурпурной водолазке, купленной, как мне думается, по настоянию его лучшего друга, и тихонько

посмеивался над собой, скорее смущенный, нежели довольный. Некий художественный критик написал о «трансцендентальных идеалах» и «пластической модальности» его скульптур, и, когда мы spryskivali это дело, запивая коньяк пивом (в Южной Африке коньяк вовсе не считается изысканным напитком богачей, он здесь производится, и у нас не потягивают его — им накачиваются), Элиас спросил:

— Черт, слушай, друг, он сам-то смекает, что к чему, или нет?

В тот год он порядочно заработал. Затем владелица галереи и художественный критик позабыли о нем, увлекшись очередным истолкователем африканской души, и он снова остался без денег, но тут выяснилось, что у него есть еще одна покровительница и она о нем не забыла, хоть и живет на другом краю света. Как вы, видимо, уже догадались, это была американка, очень старая и очень богатая, если верить местным слухам, но, скорее всего, просто какая-нибудь пожилая вдова, обладательница приличного состояния в ценных бумагах, желающая приумножить его на ниве культуры,— скажем, коллекционируя

какие-нибудь предметы искусства, вокруг которых пока нет особой давки. Она купила несколько работ Элиаса, когда приезжала в Йоханнесбург в качестве туристки. Возможно, у нее были какие-то академические связи в мире искусства; как бы то ни было, именно ее усилиями был создан фонд, обеспечивший Элиасу Нкомо стипендию для учебы в Америке.

Насколько я понимаю, ему хотелось поехать туда ради самой поездки — просто чтобы посмотреть мир. Но мне как-то не верилось, чтобы в ту пору он хотел — или мог — всерьез взяться за изучение теоретических дисциплин в художественном училище. Я всего-навсего архитектор, говорил я ему, но по опыту знаю, что за штука академизм, а то даже и самый яростный антиакадемизм (господи, спаси и помилуй нас грешных!) в лучших учебных заведениях, и что все это не для тех, кто, как выразились бы на своем жаргоне художественные критики, «обрел себя в искусстве».

Помню, он проговорил, улыбаясь:

— А ты считаешь, я себя обрел?

И я ответил:

— Друг, да ты никогда себя не терял. Тот самый первый козел, завернутый в газету,— ведь это был *твой* козел.

Позднее, когда ему отказали в заграничном паспорте и вопрос о его поездке основательно занимал наши мысли, мы с ним поговорили еще раз. Он хотел поехать, потому что чувствовал, как ему не хватает общего образования, общей культуры, ведь их не могли ему дать шесть классов начальной школы в африканской локации.

— Пока я живу тут, у тебя на квартире, я прочитал кучу твоих книг. Ох, друг, ничего-то я не знаю. В голове у меня не больше, чем вон у этого твоего малыша, ей-богу. Ну, подна-хватайся я в политике, могу при случае вернуть какой-нибудь термин по искусству, наклоню голову с таким важным видом и изреку: «пластические идеалы» — это пожалуйста. Но, слушай, друг, что я знаю о жизни? Разве я знаю, почему вся эта машинка крутится? Откуда мне знать, *как* именно я делаю то, что делаю, а? И вообще, почему мы живем и помираем? Если я

здесь застряну, то все, тогда я мог бы с таким же успехом вырезать тросточки,— добавил он.

Я понял, что он хотел сказать: по всей Африке можно видеть старичков, которые добывают себе пропитание тем, что, сидя на корточках в более или менее пристойном отдалении от какого-нибудь туристского отеля, вырезают из дерева местной породы всякие псевдоэкзотические тросточки — подделка, в сущности; но в этом смысле тросточки ненамного хуже, чем опусы скульпторов школы «Пробуждающейся Африки», столь бурно восхваляемых владелицами художественных галерей...

Тут оба мы рассмеялись, и, следуя ходу мыслей, на которые наталкивал меня

его обращенный к себе самому вопрос: «Откуда мне знать, как именно я делаю то, что делаю?» (хотя у меня самого мысль шла совсем в ином направлении), я спросил, было ли какое-нибудь художественное ремесло традиционным в его семье. Я так полагал, что нет; ведь он — дитя трущоб, он рос напротив городской пивнушки, среди остовов брошенных автомобилей и жестяной утвари, изготовленной из керосиновых бидонов; странным образом это не сделало из него нового Дюшана — наоборот, он сформировался как классический, законченный экспрессионист. В его роду не было деревенских умельцев, вырезавших тросточки, зато он рассказал мне кое о каких событиях своего детства — я и понятия не имел, что мальчишки из локаций проходят через такое: оказывается, подростком его отправили в лес, где люди его племени готовили мальчиков к обряду инициации, и, по установленному обычаю, там ему сделали обрезание. Все это он обрисовал мне очень живо.

Наши попытки раздобыть ему заграничный паспорт оказались бесплодными, и вот тут, само собой разумеется, желание Элиаса попасть в Америку перешло в нечто совсем иное: теперь его дико возмущал самый факт, что его не выпускают; это превратилось у него в навязчивую идею. Причины отказа ему, конечно, не сообщили. Официальный ответ обычный: разъяснять причины такого рода решений «не в интересах государства». Может, «им» стало известно, что он «живет так, будто он белый» (эту гипотезу подбросил мне один из чернокожих актеров

нашей труппы)? А может, все дело в том, что художественный критик в своем энтузиазме поспешил провозгласить его «выразителем чаяний и мук пробуждающейся африканской души»? Этого никто не знал. И вообще никто никогда не знает. Достаточно было того, что Элиас черный, а черным полагается безвылазно сидеть на отведенных им «по этническому принципу» улицах в своих сегрегированных зонах поселения, в тех районах Южной Африки, откуда, по утверждению правительства, они родом. Впрочем, я уже говорил, что постичь, как вершатся наши судьбы, просто невозможно, — неожиданно заграничный паспорт получил лучший друг Элиаса. До меня даже как-то не дошло, что и ему тоже что-то там предложили — то ли стипендию, то ли безвозмездную ссуду, то ли еще что-то; во всяком случае, он был приглашен в Нью-Йорк изучать режиссуру и новейшие достижения актерского мастерства (то были годы господства Метода, а не театра-лаборатории Гротовского (*известный польский режиссер-экспериментатор)). Причем он получил паспорт «с первой попытки», как без тени зависти сообщил мне Элиас. В ту пору, когда кто-нибудь из чернокожих получал заграничный паспорт, всех нас охватывала радость, что нам удалось перехитрить кого-то или что-то — а кого, мы и сами толком не знали. Словом, они уехали вместе: он — получив заграничный паспорт, Элиас — выездную визу.

■

Выездная виза — нечто вроде билета в один конец. Получая ее (по собственной просьбе, но с соизволения правительства), вы даете подписку, что никогда не вернетесь ни в саму Южную Африку, ни в Юго-Западную Африку, ее подмандатную территорию. Обязательство скрепляется подписью и отпечатком большого пальца. Элиас Нкомо так и не вернулся. Сперва он писал, и довольно часто, восторженные письма о внешнем мире, куда ему удалось вырваться; он даже как будто приобрел в Штатах некоторую радовавшую его самую популярность — не столько как скульптор, сколько как самый что ни на есть настоящий, всамделишный, живой африканский негр, достаточно развитой для того, чтобы его можно было попросить выска-

заться о разных разностях — о красоте американок, о жизни в Гарлеме и Уоттсе, о том, как звучит лозунг «Власть черным» для выходца из... и так далее. Он присылал вырезки — из «Эбони» и даже из «Нью-Йорк тайме мэгэзин». Сообщал, что некая девица из «Лайфа» добивается, чтобы журнал напечатал статью о его работах. Как работается? Да сам он пока ни за что новое не принимался, зато художественное

училище — это сила; черт подери, люди делают здесь такое!.. Бывали, разумеется, и полосы молчания; порою мы забывали о нем — а он о нас — по неделям. Потом вдруг в наших местных газетах появлялось одно из тех сообщений, которые они с особенной тщательностью вылавливают в зарубежной прессе: Элиас Нкомо выступил на митинге протеста против апартеида, Элиас Нкомо в свободном западноафриканском одеянии сидел в президиуме вместе со Стокли Кармайклом.

— А почему бы и нет? Ему же не надо беречь свою репутацию на случай возвращения, верно?— решительно вступалась за него моя жена.

Верно-то оно верно, но все-таки я тревожился:

— Дадут ему когда-нибудь поработать спокойно или нет?

Я ему не писал, но он словно бы догадался о причине моего

молчания: через несколько месяцев вдруг получаю вырезку из какого-то университетского художественного журнальчика (специальный номер, посвященный Африке), и там снимок с одной из деревянных скульптур Элиаса, а на полях приписка его рукой: «Знаю, ты не очень-то уважаешь тех, кто не делает ничего нового, но, кажется, здесь кое-кто находит эту старую мою вещь недурной». Это была именно того рода сентенция, которая — произнеси он ее вслух у меня в комнате — заставила бы нас обоих расхохотаться. Я улыбнулся и решил написать ему. Но через две недели Элиаса уже не было в живых. Он утопился в реке — это произошло в ранний утренний час в каком-то из городков Новой Англии, где находилось его художественное училище.

И опять, как в тот раз, когда ему отказали в заграничном паспорте, никто не знал почему. С обычным в таких случаях сомнением я даже почувствовал себя виноватым — ведь я

не ответил на его письмо. Как знать, говорил я себе, если человек очутился за тысячи миль от своей «квартиры» и ему почему-либо худо, то, быть может, такая безделица, как письмо, просто слово ободрения от друга, который в прошлом был до обидного скуп на такие слова... Сомнение, разумеется, и самое жалкое к тому же. Как будто написанное между делом письмишко, по существу, ободряющая ложь (ах, как это замечательно, что твою старую вещь похвалил какой-то захудалый журнальчик!)— это что-то такое, за что и впрямь может ухватиться человек, идущий ко дну во второй раз. Ибо до того, как утонуть в реке, Элиас, видимо, с головой погрузился в такие глубины ужаса, безысходного отчаяния, какие нам совсем неведомы. Возможно, люди кончают с собой потому, что внезапным прозрением открывают в себе такое, чего нам, остающимся жить, не хватает воли узнать о себе. Вот это и повергает в отчаяние, не так ли? То самое, что довелось узнать им. И разве не это имеют в виду окружающие, когда говорят в свое оправдание: «Право же, я так мало его знал...»? Я знал Элиаса лишь таким, каким он пожелал себя показать, живя у меня «на квартире»; да что там — как я был поражен, когда он упомянул однажды, что юнцом вместе с другими подростками своего племени около месяца провел в лесу, готовясь к обряду инициации,— это так не вязалось с моим представлением о нем! Разумеется, в меру того, что нам было о нем известно, а также собственных наших принципов и политических пристрастий мы, его друзья, как-то решили для себя, почему он с собой покончил: может, ему и в самом деле стало тошно до смерти, в прямом, ныне забытом смысле этого слова, тошно до того, что он умер,— от тоски по дому, по родной земле, куда ему не было возврата и чей образ он пытался вызвать в своем воображении, рядясь в туземные одежды, какие носят совсем не в той части Африки, откуда родом он сам; и от стыда за то, что у себя на родине, в Южной Африке, ему приходилось зависеть от дружеского участия белых, стыда, который он ощутил особенно остро, столкнувшись здесь с новой для него формой солидарности всех людей черной кожи.

Да, его убило южноафриканское правительство, убил шок от

переизбытка информации, но ни наша политическая горечь, ни склонность к модным терминам ни на йоту не приближают нас к пониманию того, какое сочетание сил, внутренних и внешних, толкнуло его в роковую купель в то раннее утро. Разъяснять причины этого было бы, перефразируя ту самую, официальную формулировку, «не в интересах отдельных лиц». Элиас так и не вернулся домой — вот и все.

■

Зато его лучший друг вернулся — в конце того же года. Проведя несколько недель в деревне, он явился ко мне; о его возвращении мне уже было известно. Труппа наша тем временем успела прогореть; видимо, об этом он главным образом и собирался говорить со мной: хотел выяснить, не причитается ли ему каких-нибудь денег из общего котла. Сообщил мне, что не прочь создать свой собственный театр, это было бы «о'кей»; очень ему не терпится применить новые «секреты производства»; он узнал их в Штатах «на миллион долларов» (его собственные выражения). Он стал форменным толстяком и одет был крайне экстравагантно. Сверхмодерновая куртка. Пластиковые сапоги. Парик «афро» — ни дать ни взять кусок каракуля из Юго-Западной Африки. Я прошелся насчет парика (на-столько-то мы с ним были близки): мол, он, может, все это время был в партизанах, а не изучал актерское мастерство во внебродвейских театрах. (Как раз тогда шел процесс южноафриканских политических эмигрантов, обвинявшихся в том, что они пытались «просочиться» на родину через Юго-Западную Африку.) И мне стало немножко стыдно за свою снисходительную попытку исправить его вкус, когда он с величайшим добродушием ответил:

— А что, приятель, занятная штучка, верно? Класс, а?

Я был слишком труслив, чтобы сразу заговорить о том, что меня по-настоящему волновало: об Элиасе. А когда этого уже нельзя было избежать, выдал из себя какие-то банальности. Он покачал головой.

— Страшное дело, друг.

И помолчал. Потом рассказал мне, что именно так и попал домой — то есть благодаря тому, что Элиас мертв: он вернулся

самолетом, воспользовавшись обратным билетом Элиаса. д пособие, которое получал он сам, расходы на переезд не включались, он должен был оплатить их из своего кармана, так что билет на самолет у него был только в один конец. Стипендия же Элиаса обеспечивала оплаченный проезд обратно на родину. Очень трудно было уломать авиакомпанию, чтобы разрешила замену. Пришлось идти к людям, распоряжавшимся фондом, из которого Элиасу выплачивалась стипендия, — они повели себя очень прилично, устроили ему это дело.

Все это он выложил мне с таким простодушием, что я, как и некоторые другие, искренне возмутился, когда поползли слухи, будто он полицейский агент: у кого, мол, еще хватило бы духу вернуться по билету мертвеца, мало того — мертвеца, который, даже будь он в живых, все равно не смог бы использовать обратный билет, потому что дал подписку не возвращаться на родину? Да и вообще, кто поверит этим рассказам? Дело ясное: ему надо было найти объяснение, почему он, такой же чернокожий, как другие, может свободно ездить из Южной Африки за границу и обратно. Ведь ему выдали заграничный паспорт, так? Вот то-то и оно. Почему паспорт выдали именно ему? Какому чернокожему в наше время выдают заграничный паспорт?

Признаюсь, все это злило меня, и я за него заступался: о его невиновности, доказывал я, говорит сама наивность, с которой он, чернокожий (да, именно чернокожий, потому и вынужден всю жизнь спасаться от бедствий, потому и не может позволить себе добропорядочной щепетильности и разборчивости белого), воспользовался обратным билетом Элиаса: ведь он-то жив, и билет был ему нужен;

точно так же он мог бы взять пальто Элиаса, чтобы не мерзнуть. Я заявил, что не намерен избегать его (хотя некоторые члены нашей полураз-валившейся труппы ясно дали мне понять, что уклоняются от встреч с ним), и всякий раз, когда при упоминании о нем они обменивались понимающими полуулыбками, я делал каменное лицо — показывал, что в этом их заговоре не участвую. Близкими друзьями мы с ним, разумеется, не были, но он к нам за-

хаживал. В театр ему устроиться не удалось, и он работал коммивояжером, объезжал африканские локации. Обычно он приводил с собой трех или четырех мальчуганов — насколько мы могли понять, это были его сыновья и дети друзей, у которых он жил. Мальчики были такие послушные, благонравные, тихонькие, одеты в элегантные взрослые костюмчики, и наши босоногие чада взирали на них с благоговейным трепетом. Разговаривали мы с ним все больше о его бедах — машина у него старая, того и гляди развалится; жена ушла; комиссионные выплачивают маленькие; его приглашают в Чикаго, в постоянную репертуарную труппу, но негде взять денег на возвращение в Штаты — а в это время моя жена угощала безмолвных мальчуганов тортом и мороженым или же мои дети добросовестно качали их, одного за другим, на качелях в саду. Прошло какое-то время, и мы с ним уже могли говорить о самоубийстве Элиаса. Он рассказал, что примерно за месяц до смерти Элиас, бывало, все шагал, шагал вверх по спускающемуся эскалатору в нью-йоркской подземке.

— Я думал, он просто дурачится, понимаешь? Думал, у него все о'кей. Уверен был на миллион долларов.

Он все еще с тоской цеплялся за американизмы. Но парика «афро» больше не носил, и, когда речь заходила об Элиасе, сжимал руками большую, красиво вылепленную голову, покрытую уже его собственными коротко остриженными курчавыми волосами, и так сидел, словно силясь додумать что-то, чего до конца все равно не додумаешь. Я понимал его, мне самому хотелось схватиться за голову, и я говорил:

— Ну, дальше.

И он вспоминал еще какие-нибудь «чудацкие выходки» Элиаса незадолго до смерти. В один из таких дневных приходов к нам он вдруг спросил:

— Сдается мне, я еще не рассказывал эту историю — про то, как он приглашал ребят из колледжа? Как в свой последний уик-энд — ну, перед этим самым — обходил всех подряд и приглашал на вечер, говорил — устраивает пирушку какую-то, что ли. Некоторые мне потом говорили, он им сказал —

на барбекью (* прием на открытом воздухе, во время которого подается зажаренная целиком туша (свиньи, быка и т.д.)), ты ведь знаешь, что это, ну, вроде braavleis (**жаренное на вертеле мясо (африкаанс)), ясно? А другие говорили, он обещал им устроить настоящее африканское празднество, показать, как здесь, у нас, деревенские угощают, когда в доме свадьба, или похороны, или еще там что. Спрашивал, где можно купить козла.

— Козла?

— Ну да. Живого козла. Собирался зарезать его и изжарить для них — прямо там, во дворе колледжа.

Примерно в это же время он попросил меня дать ему взаймы. Полагаю, для того он и приводил с собой этих симпатичных, принаряженных детишек: хотел убедительно показать, что он семейный и положительный, прежде чем позондировать почву насчет денег. Для человека с моими возможностями сумма была весьма внушительная. Но он больше не мог объезжать локации на своей развалюхе, а тут как раз представился случай приобрести очень приличную поддержанную машину. Я дал ему деньги, невзирая на то — а может, именно потому,— что о нем поползли новые слухи: на дом его друзей, у которых он жил,

полиция устроила налет и арестовала всех взрослых, кроме него, обвинив их в том, что они якобы побывали на собрании запрещенной политической организации. Правда, его друзьям удалось отвести обвинение; их спасла ловкость адвоката, сумевшего доказать, что полицейский провокатор, на доносе которого основывалось обвинение,— свидетель ненадежный, то есть попросту лжец. Но им тут же вручили судебное постановление, налагающее на них лично ряд запретов; в частности, им ограничили свободу передвижения и запретили посещать собрания.

Знаменательно, что *он* единственный не был арестован, и закрывать на это глаза, по-видимому, невозможно. Но все-таки его друзья позволили ему остаться у них в доме; для нас, белых, это было полной загадкой — и кое для кого из черных тоже. Впрочем, когда доверие превращается в товар, который

можно продать полиции, многое становится загадкой. И как ни расценивать мою маленькую демонстрацию (а взаймы я ему дал демонстративно), но ведь и в самом деле за последние год-два у нас здесь дошло до такого, что если человек с черной кожей имеет какое-то образование, если у него есть друзья среди «политических» и среди белых и *при всем том* ему выдают заграничный паспорт, значит, он полицейский осведомитель.

И хоть я сам себе был противен — потому и дал ему деньги,— но я разделяю это мнение. Реабилитировать себя — по крайней мере, в наших глазах — такой человек может одним-единственным способом: очутиться в тюрьме.

Ну, а *он* оставался на свободе. Правда, он был несколько подавлен и обеспокоен участием своих друзей (говорил он об этом с тем же простодушием, с каким раньше рассказывал, как ему удалось заполучить обратный билет Элиаса) и по-прежнему стеснен в средствах, бедняга; но в общем-то не унывал. Однако дружба наша — а после смерти Элиаса между нами начиналась настоящая дружба — стала быстро чахнуть. И все из-за денег. Только из-за них; он боялся, как бы я не потребовал, чтобы он начал выплачивать долг, и потому перестал бывать у меня «на квартире», кончились эти его визиты с нарядными и благовоспитанными черными детишками. Как-то раз я получил от него напечатанное на машинке письмо, где он очень официально благодарил меня за любезное содействие и т. д. и т. п., словно я банкирская контора, и заверял, что, как он надеется, в ближайшие месяцы у него появится возможность и т. д. и т. п. В ответ я нацарапал записку: я, мол, и впрямь, черт подери, очень надеюсь, что он намерен отдать мне долг — когда-нибудь; но пока-то за каким дьяволом вести себя так, будто мы в ссоре? Да пропади всё пропадом, и нечего ему из-за каких-то несчастных нескольких кусков бегать от меня как от зачумленного.

Но больше я его не видел. Я был слишком занят своим непосредственным делом — строительный бум последних лет, сами понимаете. Я получил заказ на большой культурный центр и на торговые ряды, и мне было не до того, чтобы писать декорации для нашей старой труппы, время от времени возвращавшейся

жизни. Да и он, видимо, тоже потерял с нею связь; говорили, что он неплохо зарабатывает как коммивояжер и подумывает новой женитьбе. Был и другой слух — что он даже строит себе дом в Дубе, а это — максимальное приближение к статусу обитателя солидного буржуазного предместья, какое воз можно для черного, живущего в поселке черной obsługi за чертою «белого города»,— если только можно причислить к буржуазии людей, не имеющих права собственности на недвижимость. В то время я уже не нуждался в деньгах, но сами знаете, как оно бывает, когда дело касается денег: все-таки меня немножко злило, что он не отдает долг, потому что сейчас он, по всей видимости, уже мог со мной расплатиться, пусть даже я и ответил бы, что деньги эти мне не нужны. А что касается дружбы, то он показал мне, чего она стоит. Дружба стала товаром, за который белый должен платить,— так же как он платит за содействие полицейских шпиков. Элиас уже пять лет как мертв, и мы живем

уже в иных обстоятельствах — таких, «как они складываются на данный момент», если пользоваться юридической формулировкой, а к юридическим формулировкам прибегаешь, когда другие способы выражения становятся чересчур опасными.

И вот двести семьдесят дней тому назад разнесся новый слух, только на сей раз подтвердившийся; на сей раз уже не просто слух: *он* был схвачен ночью у себя дома и брошен в тюрьму, у нас здесь это в порядке вещей — на то существует закон о превентивном заключении сроком на полгода. Так как *он* что-то собой представляет и у него много друзей и деловых знакомств, особенно среди журналистов, белых и черных, об его аресте стало известно. А если забирают человека неприметного или не представляющего особого интереса для узкого круга белых либералов, то может пройти много месяцев, прежде чем об этом станет известно кому-нибудь, кроме случайных свидетелей, оказавшихся на месте происшествия, когда его забирала полиция — у него дома или на улице. Но где сейчас *он*, это нам по крайней мере известно: в тюрьме. Говорят, сейчас готовится дело по обвинению в государственной измене — против него и других, задержанных одновременно с ним, и еще

других, просидевших больше, чем он — триста семьдесят один день, триста десять дней (цифры эти, когда их наконец сообщают, неизменно приводятся с такой вот точностью),— и что скоро, скоро всех их будут судить за то, в чем они там провинились, а в чем именно, мы не знаем, ибо когда человека сажают по закону о превентивном заключении, то не говорят, за что, и не предъявляют ему никаких обвинений. Разумеется, у нас есть кое-какие предположения. Может, он был агентом-«двойником» и использовал *laissez-passer* (*право беспрепятственного въезда и выезда), предоставляемое полицейскому шпику, чтобы делать свое настоящее дело как участник подпольного африканского национального движения? А может быть, просто неудачно выбирал друзей? Или пострадал из-за опасной преданности кому-то, хоть сам и не имел твердых убеждений? А может, все дело в каких-то личных его отношениях, о которых мы не догадывались и не имеем права судить? Видит бог: даже если не верить слухам, что *он* полицейский осведомитель, все равно трудно представить себе человека, который меньше походил бы на подпольщика, чем этот молодой весельчак, такой услужливый, всегда готовый вскочить и перевернуть пластинку, этот любитель модных курток, мечтавший сыграть в пьесе Лероя Джонса (**современный популярный американский драматург) в каком-нибудь из театриков вне Бродвея.

Впрочем, как я уже сказал, мы знаем, где он теперь: в тюрьме. И по большей части в одиночке — как говорят те, кто сидит с ним вместе. Вот уж двести семьдесят семь дней он там.

Так что мы, его белые друзья, можем очиститься от скверны слухов. Мы снова можем считать себя чистенькими. Наконец-то мы удовлетворены. Он в тюрьме. Он себя реабилитировал, не так ли?

Открытый дом

Фрэнсис Тейвер значилась в секретном списке, которым обменивались иностранцы, желающие узнать правду о Южной Африке. У каждого из этих заезжих журналистов, политических и религиозных деятелей была своя программа поездки, подготовленная их консульствами и зарубежными информационными агентствами, или же ими занимался учрежденный южноафриканскими коммерсантами фонд, ставящий своей целью создать у гостей более благоприятное впечатление о стране, а иногда Государственное информационное бюро само возило их в образцовые африканские тауншипы (*Поселок городского типа на окраине промышленного

города, предназначенный исключительно для африканцев; находится под строгим контролем властей.), университеты и пивные. Но у каждого имелся еще коротенький список, тщательно упрятанный среди самых-самых личных бумаг (слабонервные даже зашифровывали его), — список людей, с которыми непременно надо встретиться, чтобы получить верное представление о стране. Некоторые из этих людей упоминались в мировой печати как особенно активные противники апартеида или его жертвы: два-три писателя, редактор газеты, смело высказывающийся епископ. Другие были известны лишь в самой Южной Африке — о таких иностранцы узнавали только от своих соотечественников, приезжавших сюда до них с таким же коротеньким списком. Большинство в этом списке составляли белые, и это ужасно разочаровывало тех, кто жаждал получить информацию из первых рук; однако в Лондоне и Нью-Йорке говорили, что встретиться

и побеседовать с черными *можно* и сейчас — если только удастся войти в контакт с теми белыми, которые могут это устроить.

Фрэнсис Тейвер как раз и принадлежала к их числу. Причем много лет: и в сороковых годах, когда она была профсоюзным организатором, а потом возглавляла союз швейников, куда входили рабочие разных рас (пока это еще допускалось законом), и в пятидесятых, после замужества, когда была администратором смешанной черно-белой труппы (разогнанной позднее в связи с новым законодательством), вплоть до начала шестидесятых, когда она прятала от полиции своих друзей-африканцев, членов только что запрещенных политических организаций, прятала до тех пор, покуда дружба с ними не стала делом чересчур рискованным: по новым законам, на то и рассчитанным, чтобы эту дружбу подорвать, за такого рода услуги можно было без суда и следствия надолго угодить за решетку.

Теперь друзей у Фрэнсис осталось совсем немного, и она испытывала неловкость всякий раз, как в телефонной трубке слышался нетерпеливый голос американца или англичанина; очередной приезжий сообщал, что времени у него в обрез (это уж само собой), затем неизменно следовал сердечный привет от такого-то, от кого он там получил коротенький список. Всего несколько лет назад было так просто и заманчиво использовать эти приезды как повод для встречи с друзьями, которая чаще всего превращалась в пирушку. Приезжий веселился вовсю, учась танцевать квелу с черными девушками, или сидел как замороженный, стараясь оставаться достаточно трезвым, чтобы ничего не упустить, вслушивался в быструю, оживленную речь политических деятелей — африканцев, белых, индийцев, которые пили вместе и азартно спорили, и вот ведь парадокс: такой раскованности ему ни разу не доводилось видеть в странах, где общение между людьми разных рас не запрещено законом. И видя, как он заморожен, больше всего радовались именно жертвы этих законов. В те дни Фрэнсис Тейвер и ее приятелям нравилось так вот по-дружески, без всякого злого умысла чуть-чуть смещать чересчур «правиль-

ные» представления приезжих о стране. «В те дни...» — вот как она теперь мысленно их называла; казалось, все это было так давно. Иной раз перед ней вставали знакомые лица — «едкие вспышки света в черной пустоте, которую заполняли только газетные отчеты о судебных процессах, да слухи

деятельности кого-нибудь из друзей в эмиграции, да случайные сведения, полученные от такого-то, который в свою очередь знаком с таким-то, кому удалось поговорить через забор с одним из тех, кто находится под домашним арестом. Один из ее друзей — африканец, которому грозила тюрьма, так как он был активным деятелем Африканского национального конгресса, — «ушел в подполье»; он изредка навещался к ней под вечер, когда был уверен, что, кроме нее, в доме нет ни души. Хотя Фрэнсис все еще выглядела молодо, она считала «те дни» днями своей молодости, и он, этот подпольщик, был для нее видением из той далекой поры.

■

На сей раз голос в трубке (а говорил, несомненно, американец) звучал осторожно, негромко: человек явно был уверен, что телефонные разговоры подслушиваются. Роберт Гринмэн Серетти из Вашингтона... Пока они беседовали, Фрэнсис вспомнила, что это политический обозреватель, имевший какое-то отношение к правительству Кеннеди. Не он ли написал книгу о Плайя-Хирон (*В апреле 1961 года в районе Плайя-Хирон на Кубе было разгромлено вооруженное вторжение контрреволюционных эмигрантов.)? Во всяком случае, в печати были ссылки на какую-то его работу, это она помнила точно.

— А как там Брауны? Целую вечность от них ни слуху ни духу...

Разговор протекал как обычно в таких случаях; с ее стороны — расспросы об общих знакомых, от которых приезжий передал привет, с его — столь же обычная просьба: он так надеется, что ему будет предоставлена возможность повидаться с нею... Она хотела было ответить не раздумывая, как отвечала всегда: «Приходите сегодня обедать», но какой-то нелепый внутренний протест, безотчетный страх заставил ее вместо это

го пригласить его на послезавтра на коктейль. Она сочла своим долгом добавить:

— Не могу ли я пока быть вам чем-нибудь полезной?

Американец, судя по голосу, был человек скромный и рассудительный.

— Спасибо, весьма вам признателен,— ответил он.— Итак, жду среды.

В последнюю минуту она пригласила для встречи с ним кое-кого из белых друзей: врача с женой, работавших в туберкулезной больнице в африканском резервате, и молодого журналиста, побывавшего в Америке по одной из программ обмена. Но она понимала, чего ждет от нее заезжий иностранец, и, поддавшись нелепому — да, опять это слово, другого не подберешь,— нелепому побуждению, сама, увы, сама дала ему повод попросить ее об этом.

Американец пришелся ей по душе: маленький, уютный рыжеволосый человечек, чем-то похожий на бурундука. Когда остальные гости разошлись, она повезла его на машине в гостиницу, где он остановился; дорогой они болтали о статьях, которые он собирается написать, о людях, с которыми он успел встретиться. Удалось ли ему, например, проинтервьюировать видных деятелей Национальной партии? Да пока еще нет, но, он надеется, на той неделе в Претории ему кое-что в этом плане организуют. А еще его очень смущает (ага, наконец-то!), что ему до сих пор не удалось хотя бы словом перемолвиться ни с одним черным, если не считать коридорного, убирающего номер. Она услышала свой собственный голос, прозвучавший словно бы небрежно:

— Что ж, тут я, возможно, сумею вам помочь.

Он тотчас же ухватился за ее слова — с очень серьезной, искренней благодарной улыбкой сказал:

— Я так и думал, что сумеете. Мне бы только поговорить с несколькими людьми, пусть самыми что ни на есть обыкновенными, лишь бы они толково мне рассказать, что и как. Понимаете ли, те отважные белые, с которыми мне посчастливилось встретиться сегодня у вас — такие, как вы и ваш муж,— очень хорошо меня информировали, и все-таки о том,

как настроены африканцы, хотелось бы хоть что-нибудь услышать от самих африканцев. Если бы вы смогли это устроить, было бы просто замечательно.

Но теперь, когда все было высказано вслух, она вдруг пошла на попятный — впрочем, спастись она пыталась от себя, а не от него:

— Сама не знаю. Люди больше не хотят ничего рассказывать. Если они и делают что-нибудь, то наверняка такое, о чем лучше не говорить. Я хочу сказать — те, кто остался на свободе Белые и черные. А те, с кем вам по-настоящему стоило бы потолковать,— за решеткой.

Они сидели в машине перед его гостиницей. По ободряющему, восхищенному взгляду американца, который не сводил с нее глаз, Фрэнсис поняла: ему внушили, что если кто-нибудь и может свести его с черными, так именно она, и если с ними и можно встретиться в частном доме, так только у нее.

В ней заговорило тщеславие:

— Я вам дам знать, Боб. Ждите моего звонка.

Разумеется, они уже называли друг друга по имени:

когда в Южной Африке встречаются родственные по духу белые, общность взглядов и грустное сознание обособленности ускоряют сближение.

— Вы скажите только — где и когда, больше ничего. В тот, первый день мне так не хотелось говорить об этом по телефону, — признался он.

Вечно этим приезжим чудится опасность...

— Да что вам-то может грозить? — Она улыбнулась не слишком приветливо. В таких случаях все они начинали торопливо объяснять, что, мол; тревожатся вовсе не за себя, а за нее, и так далее, и тому подобное. — У вас же заграничный паспорт. Вы ведь не живете здесь.

■

С Джейсоном Маделой она виделась редко, но, когда позвонила ему (ей вспомнилось, что его контора помещается почти рядом с «белым» городом), он принял ее приглашение с такой готовностью, словно был близким другом дома и привык заходить к Тейверам запросто, когда заблагорассудится. А еще у

нее есть в запасе Эдгар, Эдгар Ксиксо, адвокат, к которому перешла практика ее старого друга Самсона Думиле. Этого можно заполучить всегда. Ну а кто еще? Можно попросить Джейсона, чтобы привел какого-нибудь устроителя боксерских матчей или азартного игрока, — ему нравилось таскать за собой такую публику туда, где можно выпить на дармовщину, — но нет, это было бы шито белыми нитками, даже если б они с Джейсоном сумели прикинуться, будто не понимают, чего от них хотят. Так что в конце концов она пригласила коротышку репортера Спадса Бутелези. А какая, собственно, разница? Черный, и ладно. Да и все равно теперь уже выхода нет.

Фрэнсис решила устроить хороший ленч, не хуже, чем в былые времена; столик с напитками и льдом поставила не на середине большой веранды, а в застекленном ее углу, чтобы маленькая компания не чувствовала себя затерянной. Волосы она только вчера выкрасила в светлый тон — примерно такой же, как был у нее когда-то свой, на их фоне выделялись искусно вытравленные седые пряди; в общем, она чувствовала, что «сделана» как раз в меру и производит приятное впечатление; яркое полотняное платье не закрывало загорелых плеч, они блестели, словно выпуклости хорошо отполированной мебели; с твердым, коричневым от загара лицом голубые глаза контрастировали неожиданно и красиво, и Фрэнсис это знала. О том же сказал ей взгляд Роберта Гринмэна Серетти — секунду-другую он смотрел на нее, стоя в залитом солнцем проеме двери; да, она еще и женщина, одна-единственная здесь и царящая безраздельно среди этих мужчин.

— Приготовьте нам всем мартини, ладно? — обратилась она к нему. — Прекрасная штука. Выпить настоящий мартини — такое удовольствие. — И пока он колдовал над бутылками с обстоятельностью, присущей людям небольшого роста, она сновала с веранды и обратно, вводя прибывающих гостей.

— Это Боб, Боб Серетти из Штатов, решил у нас побывать, а это Эдгар Ксиксо. Джейсон, познакомьтесь: вот Боб Серетти — человек, к которому прислушиваются президенты...

Смех, протестующие возгласы, а хозяйка тем временем обносила гостей напитками. Джейсон Мадела — тучнеющий,

разжиревшей шеей, но все еще красивый хмуроватой красотой в стиле Кларка Гейбла, стоял, держа бокал в такой небрежной манере, словно усвоенной на

вечеринках с коктейлями. Со своей обычной миной человека, которого отвлекают от важных дум невероятно забавные реплики окружающих, он поправлял Роберта Серетти:

— Нет, нет, поймите же, в тауншипах слово «конъюнктура»

употребляется в совершенно ином смысле: вот я, например, типичная «конъюнктура»...— И, ожидая подтверждения, он с многозначительной улыбкой посмотрел на Ксиксо. Тот обводил всех взглядом, выражающим готовность поддержать общее

веселье.

— Ну еще бы, ведь вы —«мути»!— вставил он поспешно.

— Нет, погодите-ка, я хочу объяснить Бобу более наглядно...— Снова смех, на этот раз общий.— Это человек, для которого строгий европейский костюм — повседневная одежда, как для белого. Который ходит в контору и предпочитает изъясняться по-английски.

— Вы хотите сказать, что слово «конъюнктура» для вас варваризм и вы употребляете его в смысле «удачливый», «благополучный»? Вы это имеете в виду? Ну вы же знаете газетное выражение «благоприятная конъюнктура»?— Сидевший на стуле американец подался вперед и, подняв к ним улыбающееся лицо, глядел на них снизу вверх.— А что такое «мути»? Пожалуй, мне следовало бы делать заметки, а не трясти ваш миксер, Фрэнсис.

— Медик,— пояснил Ксиксо.

— Ой, да оставь ты, бога ради,— рассмеялся Джейсон и залпом допил джин, а Фрэнсис поднялась навстречу запоздавшему Спадсу Бутелези, молодому человеку в рубашке-сетке золотого цвета и светло-голубых джинсах, и подвела его к другим гостям.

Когда Боб Серетти и Спаде представились друг другу, американец спросил, задержав его руку в своей:

— А что же тогда такое Спаде?

На лице Спадса, довольно светлом, с мелкими чертами, будто натканными в тестообразную массу, словно навсегда

застыло настороженно-удивленное выражение. К тому времени, когда он появился, остальные успели выпить не один martini, и голоса звучали громко.

— А Спаде хочет пива,— обратился он к Фрэнсис, и все снова рассмеялись.

Джейсон Мадела поспешил ему на выручку — этакий добрый великан, извлекающий муху из стакана с водой:

— Он у нас из интеллектуалов. Это люди совсем другой категории.

— Да разве сами вы, Джейсон, раньше к ней не принадлежали?

В вопросе Фрэнсис была укоризна, несколько нарочитая: Джейсону Маделе, безусловно, хотелось бы дать американцу понять, что он не просто коммерсант, успешно ведущий дела в тауншипах, но еще и обладатель университетского диплома.

— Милая Фрэнсис, не будем вспоминать о грехах моей молодости,— ответил он, привычно становясь в позу человека, прячущего душевную рану.— Насколько я понимаю, в этом доме мужчинам положено трудиться; ну-ка, вот с этим справлюсь я.— И он принялся вместе с Фрэнсис разделять подтаявшие и оттого сплавившиеся кубики льда.— Велите слуге принести немного горячей воды, и все будет в порядке...

— Ой, я же пренебрегаю своими обязанностями!— воскликнул Серетти. Он внимательно слушал пространный рассказ Ксиксо о том, как сложно оформить поездку в один из бывших английских протекторатов, время от времени бросая негромко: «Так, так», «Ах, вот как?»— и теперь вскинул глаза на Фрэнсис и Джейсона, безмолвно предлагая им еще по бокалу martini.

— Ничего, ничего, разговаривайте, для того все и затеяно,— ответила ему

Фрэнсис.

Он улыбнулся ей доверчивой улыбкой смышленного любимчика:

— Я смотрю, вы двое здорово орудуете возле бара. Чувствуется, что сработались уже давно.

— А и вправду, давно?— подхватила Фрэнсис оживленно, но сухо. (Вопрос должен был означать: давно ли они с

Джейсоном Маделой знакомы?) И, шутливым жестом защищаясь от удара, которого якобы ждал от нее, Джейсон сказал:

— Лет десять, должно быть, но вы уже и тогда были совсем большая девочка.

Между тем оба прекрасно знали, что за последние пять лет случайно встречались всего раз десять, где-нибудь в гостях, а разговаривать им довелось и того меньше.

Во время ленча Эдгар Ксиксо продолжал рассказ о мытарствах, с которыми связаны его поездки в один из бывших английских протекторатов, ныне маленьких государств, недавно получивших независимость и вкрапленных в территорию Южной Африки. Он вовсе не просит заграничный паспорт, объяснял Ксиксо, просто разрешение на проезд, только и всего, бумажку из Управления по делам банту, которая позволила бы ему съездить в Лесото по делу и вернуться обратно.

— Позвольте, если я правильно вас понял, вы уже там бывали?— спросил Серетти. Он склонился над облаком пара, поднимающегося над тарелкой с супом, и смахивал на прорицателя, который вглядывается в хрустальную сферу.

— Да-да, видите ли, у меня было разрешение на поездку...— начал было Ксиксо.

— Но это штука разовая: уехал-приехал, и все,— закончил за него Джейсон с добродушным нетерпением быстро соображающего человека.— Считается, что у нас, черных, нет никакой охоты разъезжать. Скажи им, что хочешь провести отпуск в Лоренсу-Маркише, и они расхохочутся тебе в лицо. А то еще, пожалуй, и с лестницы спустят. Оппенгеймер и Чарли Энгельгард могут отправляться на своих яхтах в Южную Францию, но Джейсон Мадела...

Все рассмеялись, как он, собственно, и ожидал, а кроме того, брошенные им вскользь слова — что, мол, эти два богача, эти влиятельные белые бизнесмены, когда с ними познакомишься поближе, оказывается, люди вполне приличные — создавали впечатление, что он-то, возможно, с ними знаком. Насколько могла судить Фрэнсис, это было не исключено: Джейсон — именно тот человек, на которого пал бы выбор

белой верхушки, если бы ей понадобилось сделать символический жест, демонстрирующий ее связь с черными массами Странным образом, Джейсон Мадела действовал на белых успокоительно: его темные костюмы и крахмальные сорочки городская речь и чувство юмора — все было точно такое же как у них самих, хоть и взялось неведомо откуда, и это позволяло белым забывать о неприглядных фактах той жизни на которую были обречены он и ему подобные. А как он тактичен, как умен... Ведь не только какой-нибудь миллионер, но даже и сама Фрэнсис как бы служила наглядным свидетельством всего, чего он лишен: она белая, а значит, вольна ехать куда ей вздумается и тем самым уже виновна перед ним. Но он не включал ее в число виновных; сознание это ей льстило, и она отвечала благодарностью, не приметной для окружающих, словно передаваемый под столом вексель...

Эдгар Ксиксо рассказывал между тем, что его вызывали в Особый отдел полиции на допрос.

— А ведь я никогда не состоял ни в одной политической организации, никогда ни в чем не обвинялся, и им это известно. Знакомых среди политических эмигрантов в Лесото у меня тоже нет. Я и не собираюсь ни с кем там встречаться, но ездить туда и обратно мне необходимо: у меня торговое агентство, продаю всякое оборудование

для алмазных копеек, и дело могло быть прибыльное, да вот...

— Может, надо кое-кого подмазать,— заметил Джейсон Мадела, накладывая себе салат.

Ксиксо испуганно вскинулся:

— А если нарвешься на такого, кто не берет, тогда ведь... Да еще при моей профессии, я же юрист!

— Чутье,— бросил Мадела.— Научиться этому нельзя.

— Объясните мне...— благодарственным жестом Серетти отказался от второго куска утки, предложенного хозяйкой, и, повернувшись к Маделе, продолжал:— Вы считаете, что взятки играют большую роль в повседневных отношениях между африканцами и представителями власти? Разумеется, я не о политическом отделе полиции, а о белом государственном аппарате вообще. Таков ваш личный опыт?

Маде^{ла} отпил вина и, поворачивая бутылку, чтобы разглядеть этикетку, ответил:

— Нет, я не назвал бы это подкупом — в том смысле, в каком это понимают у вас. А так, по мелочам... Когда у меня была транспортная контора, приходилось к этому прибегать, родительские права для шоферов и все такое. Выискиваешь какого-нибудь молодого клерка из африканеров: зарабатывают они мало и не прочь получить шиллинг-другой — все равно от кого. Среди них попадаются понятливые. Можно бы, наверное, найти кого-нибудь чином повыше в Управлении по делам банту. Но тут надо суметь распознать подходящего человека...— Он поставил бутылку на стол, улыбнулся Фрэнсис.— Слава богу, теперь я со всем этим разделался. Вот если только надумаю предложить какое-нибудь из моих снадобий бюро стандартов, а?— И он рассмеялся.

— Джейсон нарушил монополию белых на выпрямитель для волос,— весело пояснила Фрэнсис.— Но, что очень мило с его стороны, сам он не питает никаких иллюзий насчет качества своей продукции.

— Зато очень верю в ее будущее,— подхватил Джейсон.— Сейчас вот подумываю, не начать ли экспортировать в Штаты свои таблетки для мужчин. По-моему, как раз пришло время дать американским неграм приятное сознание, что они могут вновь обрести чуточку старой Африки — самую малость, во флакончике, а?

Ксиксо терзал утиную ножку с таким видом, будто это и было то неодолимое препятствие, о котором он только что рассказывал.

— Понимаете, я им все твержу: ну покажите мне в моем досье хоть что-нибудь такое...

Молодой журналист Спаде Бутелези вставил обычным для него брюзгливым тоном:

— А может, это потому, что к тебе перешла лавочка Самсона Думиле?

Всякий раз, как в разговоре упоминалось новое для него имя, Серетти напряженно прищуривался.

— Ну да, в этом все дело!— жалобно подтвердил Ксиксо,

глядя на него.— Человек, на которого я работал, некто Думиле, проходил по одному из политических процессов, ему дали шесть лет; но ведь я взял у него только благонадежную клиентуру; даже контора моя в другом здании, а с прежней у меня нет ничего общего; и все-таки дело именно в этом.

Фрэнсис вдруг вспомнился Сэм Думиле, как он сидел у нее вот тут, на этой самой веранде, три — а может, всего два?— года назад, рассказывал, что позаванной ночью в дом к нему ворвалась полиция, и оглушительно хохотал, повторяя слова своей маленькой дочки, объявившей полицейскому: «Папа очень сердится, когда играют его бумагами!»

Джейсон поднял бутылку, молча показывая хозяйке, что собирается налить всем, и она сказала:

— Да, да, пожалуйста... А что с его детьми?

Хотя Джейсон и понял, кого она имеет в виду, он счел нужным вежливо уточнить:

— С детьми Сэма?

Но тут заговорил Серетти, обращаясь к Эдгару Ксиксо:

— Действительно ужасная история. Бог ты мой! Видимо, вам из этого дела не выпутаться, как ни старайтесь. Бог ты мой!

И Эдгар Ксиксо усиленно закивал в ответ.

Так что Джейсон продолжил негромко, чтобы слышно было одной только Фрэнсис:

— Наверно, они у кого-нибудь из родни. У него сестра в Блумфонтейне.

■

На десерт были свежие манго со сливками — фирменное блюдо хозяйки дома.

— Манго а-ля Фрэнсис,— сказал американец.— Это одно из моих африканских открытий, которое я буду рекламировать.

Но Джейсон Мадела заявил, что у него манго вызывает аллергию, и принялся за сыр. Откупорили еще бутылку вина, специально к сыру, и тут снова раздался общий смех (Роберт Серетти поспешил обратить его на себя): как выяснилось из разговора, Спаде Бутелези почему-то решил,

будто Серетти имеет отношение к некоему американскому фонду. Но все были настроены на благодушный лад едой, выпивкой, ярким солнцем, в лучах которого слоями плыл табачный дым, и не мешали Бутелези изливаться, хотя то, что он говорил, было им давно известно. А тот, не желая, чтобы заготовленная им тирада пропала зря, атаковал Серетти: пусть устроит ему стипендию, тогда он сможет закончить свою пьесу. В который раз они выслушали содержание и основную идею пьесы — «прямо из жизни тауншипа», как без конца твердил Бутелези, уверенный, что это — единственно необходимое условие авторской удачи. Ведь он терпеливо, по многу раз соединял и вновь разъединял различные компоненты, добросовестно извлеченные им из книг тех африканских писателей, которым удалось напечататься: к тому же он и сам африканец; стало быть, для успеха ему требуется одно: чтобы кто-то взял его под свое покровительство, что же еще?

И хотя Серетти не имел отношения ни к какому фонду, он вежливо поинтересовался:

— Фрэнсис, вы вообще-то знакомы с этой пьесой? Я хочу сказать,— тут он вновь повернулся к молодому журналисту, чье круглое лицо под влиянием выпитого стало более простым и открытым,— настолько ли она готова, чтобы можно было ее кому-нибудь дать прочесть?

Неожиданно для себя Фрэнсис ободряюще улыбнулась:

— Да, я видела первоначальный набросок; он потом над ним основательно поработал, верно ведь, Спаде?.. И даже, кажется, состоялось чтение?..

— Я вам ее непременно принесу,— объявил Бутелези и записал название гостиницы, где остановился Серетти.

Они вновь перешли на веранду — пить кофе с коньяком. Было уже около четырех, когда гости поднялись и стали прощаться. Серетти просто сиял.

— Джейсон Мадела обещал подбросить меня в город, так что не утруждайте себя, Фрэнсис. Я говорю ему: американцам трудно будет поверить, что мне довелось побывать здесь, у вас, на таком вот ленче. До того было приятно, по-настоящему приятно. Мы все чудесно провели время. Джейсон говорит,

несколько лет назад такие встречи были делом обычным, но теперь мало кто из белых отважится пригласить африканцев и мало кто из африканцев отважится принять приглашение. Я получил истинное удовольствие... Надеюсь, мы вам не очень надоели — так засиделись... Мне исключительно повезло.

Фрэнсис проводила их до садовой калитки — все оживленно болтали, смеялись;

последние реплики и слова прощания донеслись до нее уже из-за деревьев, которыми была обсажена улица белого предместья, где она жила.

Когда она вернулась, опустевшая веранда еще наполнилась гулом голосов, словно башня после того, как отзвучит бой курантов. Кто-то оставил полупустую пачку сигарет, а кто же это наломал спичек и построил из них шалашики? Фрэнсис вынесла поднос на кухню и тут заметила записку — пять слов на обороте счета, снятого с металлического шпенька: «Надеюсь, вы славно провели время»

Подписи нет. Написано шариковой ручкой, свисающей на ниточке с кухонной стены. Но она знала, от кого это: видение из прошлого побывало здесь и снова исчезло.

Помещение для слуг — Амоса и Бетти — находилось в глубине двора за завесой из дикого винограда. Она позвала Бетти и спросила, не заходил ли кто-нибудь. Нет, никого не было.

Должно быть, в послеполуденной тишине он услышал голоса, а может, просто увидел возле дома машины и ушел. Интересно, понял он, кто у нее здесь собрался? И почему ушел — чтобы не подвергать ее опасности? Хотя Фрэнсис, разумеется, никогда с ним об этом не говорила, он, вероятно, знал: степень риска, который она позволяет себе, строго дозирована, очень строго. Скрыть это от такого человека, как он, было просто невыносимо. Тут ей представилась усмешка, которую вызвал у него подбор гостей: Джейсон Мадела, Эдгар Ксиксо и Спаде Бутелези — да, да, и Спаде Бутелези. Но, может быть, она ошибается, может, ему и самому хотелось к ним присоединиться, и вовсе не было у него той укоризны, того презрения, которые почудились ей в выражении его лица, во всем его облике, когда он предстал перед ее мысленным взором. «НАДЕЮСЬ, ВЫ СЛАВНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ»...

Возможно, он только это и имел в виду

■

Фрэнсис Тейвер знала, что Роберт Серетти скоро уезжает, но когда именно, ей известно не было. Каждый день она говорила себе: «Надо бы позвонить ему, сказать до свидания». До она ведь уже попрощалась с ним — в тот день после ленча. Просто позвонить, сказать: «До свидания»... В пятницу утром, когда она уже была совершенно уверена в том, что не застанет его, Фрэнсис позвонила в гостиницу, и оказалось — он еще здесь. В трубке послышался осторожный, негромкий голос американца. Сперва она смешалась. Он говорил, что так рад ее слышать, а она все повторяла:

— Я думала, вы уже уехали...

Наконец она решилась:

— Мне хотелось вам только сказать — ну, по поводу ленча. Чтобы вы не обманывались насчет тех людей...

Он вставил:

— Фрэнсис, я так вам обязан, право же, вы были великолепны.

— ...про них не скажешь, что они «липа», нет, в том-то и дело, что они вполне реальные, вы меня поняли?

— О, этот ваш друг, ну, такой рослый, красивый, он — чудо. Знаете, в субботу вечером мы с ним ездили...^ Серетти явно гордился приключением, но не хотел употреблять в телефонном разговоре слово «шибин» (*Кабачки для африканцев, существующие без разрешения властей.).

— Нужно, чтобы вы поняли,— настаивала она.— Потому что коррупция, разложение — вещь реальная. Даже эти люди — они смогли стать тем, что они есть, именно потому, что обстоятельства сложились так, как у нас сейчас. «Липовые» они в том смысле, что порождены нынешней конъюнктурой... А она разлагает людей, и вот это уже — очень реально. Мы все — ее порождение.

Возможно, в телефонном разговоре ему было трудно следить за ходом ее

мысли, и потому он ухватился за подвернувшееся словцо:

— Да-да, тот самый, который «конъюнктура»,— ему удалось протащить меня в такое веселое местечко, такое веселое!

Но Фрэнсис повторила:

— Я хочу только, чтобы вы не обманывались...

Настойчивость и тревога в ее голосе заставили его смолкнуть, ему тоже стало не по себе, хоть он и не мог понять, о чем идет речь.

— ...насчет нас всех,— закончила она.

До него дошло только одно: что-то не так, причем что-то запутанное и сложное, но он знал, что скоро уедет отсюда и уже не успеет во всем этом разобраться, да и вообще, чтобы разобраться, нужно, наверное, здесь родиться и прожить всю жизнь. И потому она услышала в ответ лишь успокаивающие слова:

— Все было чудесно... Ей-богу, чудесно. Надеюсь, мне все-таки доведется еще раз сюда приехать — ну если, конечно, меня впустят...

Встреча в пространстве

Каждое утро Клайва посылали в булочную, и французские ребятишки внезапно возникали откуда-то из сумрака стен, словно бродячие кошки, и шли за ним по пятам. Понять, о чем они говорят между собою, он не мог, но почему пересмеиваются — догадывался: ведь он чужак. Всякий раз, выходя из дому, он ждал: вот сейчас ему станет жутко и в то же время как-то противно оттого, что они идут за ним следом; у каждой улочки, у каждой подворотни, у каждой щели его подстерегал страх: сейчас, сейчас они появятся. В булочную они заходить не решались. Скорей всего, запрещал булочник — ведь сразу видно, что они бедные, а бедные дети воруют, это Клайву было известно — вот хоть бы черные ребятишки там, дома, в Южной Африке. На родине он не бывал в булочной ни разу: рассыльный-африканец приезжал на велосипеде с тележкой; проносил хлеб через задний двор, держа его над головой и увертываясь от лающих собак, и клал на кухонный стол две булки и буханку обдирного. Так же было с фруктами и овощами: зеленщик, старый индеец Валлабххай, подъезжал на фургончике к задней калитке и его подручный-негритенок заносил все, что нужно, прямо в кухню.

Но здесь, во Франции, говорили родители, одно из развлечений — делать покупки самим в лавчушках, что прячутся в расщелинах горбатых улиц. Они заставляли Клайва снова и снова повторять французские слова, которые он должен сказать в булочной, но там он все равно ничего не говорил, просто показывал пальцем: мне вон это, а потом протягивал на ладони деньги. У него даже появлялось такое чувство, будто он вовсе не Клайв, а другой человек, немой. Дня через три, получив

сдачу, он уже тыкал пальцем снова — на этот раз в сдобную булочку с вареньем. Теперь его встречали как постоянного покупателя: продавщица что-то приветливо ему говорила улыбалась, склонив голову набок, но он не поддавался, лишь молча протягивал на ладони монетку.

Иногда одновременно с компанией мальчишек, которые всякий раз за ним увязывались, появлялся еще один: громко поздоровавшись с остальными через улицу на их языке, пройдет, ся с ними немножко, поболтает, но сразу видно было, что он не из них. Может, потому, что он богаче, решил Клайв. Хотя на нем были такие же хлопчатобумажные шорты и парусиновые туфли, как у других, он был обвешан разными штуковинами в кожаных футлярах — фотоаппарат и еще какие-то две... А потом он стал по утрам появляться в булочной. Станет рядом с Клайвом, будто тот не

только «немой», но еще и невидимка, и, вскинув голову с блестящей каштановой гривой, обводит взглядом знатока выставленные на прилавке торты, а сам весело так, по-свойски болтает с продавщицей — наверно, об этих самых тортах. Он неожиданно возникал и в других местах, но один. Как-то Клайв увидел его в самом начале подземного перехода (им сразу можно было попасть из верхней части деревни в нижнюю, и воняло там, как в школьной уборной): мальчишка стоял, привалясь к сырой стене. Другой раз он выскочил из обшарпанного розового домика, перед которым стояли высокие, как из арабских сказок, горшки — похоже было, что он следил за Клайвом из окна. А еще как-то на виду у Клайва он прошелся, покачивая для равновесия руками, по гребню стены, под которой была площадка, где булочник с другими мужчинами гонял под вечер тяжелые шары. Наконец он появился возле виллы, где отдыхала семья Клайва: уселся на крылечке дома напротив и принялся что-то налаживать в своем фотоаппарате.

— Англичанин? — спросил он Клайва.

— Да... Не совсем... Нет. То есть говорю я по-английски, но я из Южной Африки.

— Из Африки? Из самой Африки приехал? Это же чертова даль!

— Всего часов пятнадцать, около того. Мы на реактиве лете-

у нас, правда, вышло немного дольше — понимаешь, в одном двигателе что-то заело и пришлось среди ночи три часа просидеть в Кано. Ох и жарыща же там! И настоящий верблюд около нас бродил.

Клайв смолк. В его семье считали, что рассказывать слишком длинно — тоску на людей нагонять.

— Я тоже кое-чего повидал интересного. Предки раскатывают вокруг шарика и часто берут меня с собой. Осенью вернусь домой, похожу немножко в школу. Лабуда. Африка, а? Фантастика! Может, выберемся туда как-нибудь. Слушай, ты в этих проклятущих «Полароидах» мерекаешь? У меня заколодило. А я тебя снял раза два, могу показать. Снимаю скрытой камерой. Повсюду тут хожу, щелкаю. У меня еще один аппарат есть — «Минокс», но я все больше «Полароидом» — проявляет прямо сам, тут же: щелкнул кого-нибудь, и, пожалуйста, сразу отдаешь человеку фото. Для потехи. Кое-что здорово интересно получилось.

— А меня ты где? На улице?

— Ну, я же повсюду щелкаю, все время.

— А в другом футляре у тебя что?

— Маг. Я и тебя запишу. Повсюду записываю — ив баре Зизи, и на площади, люди понятия не имеют; понимаешь, у меня микрофончик маленький такой, «жучок». Фан-тастика!

— А вон в этом что?

Серебристой волшебной палочкой выпрыгнула антенна.

— Транзистор, что же еще! Мой любимый транзистор. Знаешь, что я сейчас слушал? «Помоги!» Там, у вас в Африке, биттлов любят?

— Мы их в Лондоне слушали — их самих. Брат, сестра и я. Сестра купила пластинку «Помоги!», но здесь нам не на чем ее слушать.

— Надо же, везет некоторым! Видели живых биттлов, а? Я волосы отпускаю, чтобы как у них, обратил внимание? Эй, слушай, я притащу к вам маленький проигрыватель, пусть сестренка послушает «Помоги!».

— А когда ты можешь прийти?

— Когда скажешь. Я такой: одна нога здесь, другая там.

Сейчас, правда, надо тащиться на урок французского, черт бы его взял, а в двенадцать заскочить домой — эта старушенция мадам Бланш, должна покормить меня, прежде чем смотается; зато потом мне лафа, могу прийти в любое время.

— Тогда давай сразу после ленча. Часа в два. Жду тебя здесь. А не мог бы ты прихватить снимки — ну те, где я?

■

Клайв опрометью бросился через дворик, толкнул затянутую металлической сеткой дверь, и она с треском захлопнулась за ним.

— Эй, тут есть один мальчик, говорит по-английски! Сейчас мы с ним болтали. Настоящий американец, выговор американский-разамериканский, вот услышите. А чего у него только нет! Вы бы видели: фотоаппарат «Полароид» — он меня щелкнул несколько раз, а я его даже не знал тогда, и еще «жучок», это маленький такой магнитофончик, записываешь людей, а они и не знают, и еще транзистор, ой, крохотный совсем, в жизни такого не видел!

— Значит, нашел себе приятеля. Слава богу, — сказала мать.

Она нарезала для салата зеленый перец и протянула Клайву ломтик на кончике ножа, но он даже не заметил.

— Он ездит по всему свету, только иногда приезжает домой, немножко походить в школу.

— Да ну, а где он учится? В Нью-Йорке?

— Не знаю. Сказал, учится в Лабуде, что-то в этом роде. «Лабуда!» — так он сказал.

— Глупенький, это не название школы, а жаргонное словцо.

Здесь же, в комнате, служившей кухней и столовой, была душевая, и выдвижная дверь ее, замаскированная под дверцы буфета, вдруг заходила ходуном — кому-то не терпелось оттуда выскочить. Рывок — и показалась голова сестры.

— Кого ты себе нашел? Кого?

Лицо ее под хлорвиниловой купальной шапочкой все так и светилось безмерной надеждой, которую она возлагала на эту поездку.

— И мы сможем послушать твою пластинку, Джен, он принесет проигрыватель. Он американец.

— А лет ему сколько?

— Сколько и мне. Около того.

Она стянула шапочку, прямые волосы упали ей на плечи и на лицо, закрыв его до ресниц.

— Отлично, — бросила она деловито.

Отец читал «Утреннюю Ниццу», сидя у обеденного стола на стуле, чехол которого был вроде женской одежды: вокруг сиденья — желтая юбочка, жесткая спинка тоже чем-то обтянута. Когда Клайв вбежал, отец шутки ради подставил ему ногу — впрочем, безуспешно; ему подумалось, что надо бы еще как-то проявить к мальчику интерес, и, словно желая показать, что он все время прислушивался к разговору, он спросил:

— А как зовут твоего приятеля?

— Ой, не знаю. Он американец, ну, такой, знаешь — ходит с тремя кожаными футлярами.

— А... а... Так-так.

— Да он сегодня после ленча к нам придет. Отпускает волосы — под биттлов.

Это — специально для сестры; она уже добежала до середины каменной лестницы, оставив за собою вереницу мокрых следов, но сразу же обернулась на его слова.

■

А вот Дженни — она была уже большая и знакомила людей друг с другом по-взрослому — конечно же, сразу спросила американца, как его зовут. И ответ получила весьма обстоятельный:

— Ну, вообще-то меня зовут Мэтт — это сокращенное от Мэттью, второго моего имени. А полностью — Николас Мэттью Руте Келлер.

— Келлер-младший?— поддела его Дженни.— Келлер-тре-тий?

— Ну почему же! Просто отца зовут Доналд Руте Келлер. А меня называли в честь деда по матери. Ух и семьища же у нее — сила. Ее братья наполучали в войну целых пять орденов. Самый младший мой дядя, Род,— так у него дырка в спине, где ребра, такая здоровая — рука входит. Моя рука, не взрослого,— добавил он и сжал в кулак маленькую, худую, загорелую

кисть.— На сколько еще у меня должна вырасти рука? Раза в полтора, а? Ну, чтоб кулак был большой, как у настоящего мужчины?

И он поднес руку к руке Клайва. Двое десятилетних с жадным интересом смерили кулаки: у кого больше.

— К твоему кулаку в придачу кулак Клайва — вот и будет Кулак Настоящего Мужчины, Удальца и Храбреца. Наша фирма высылает кулаки почтой. Не забудьте вырезать из газеты купон с нашим адресом. Достаточно вложить в конверт верх от коробки или разборчивый образец вашей подписи,— насмешливо сказал Марк, старший брат Клайва.

Но мальчики пропустили его издевку мимо ушей, а может, просто не поняли, что он над ними потешается. Не то Клайв, вероятно, улыбнулся бы, смущенно и вместе с тем горделиво — ведь блеск журнальной рекламы, которую высмеивал брат, чтобы поддеть его друга американца, падал отраженным светом и на него, Клайва. А Мэтт как ни в чем не бывало продолжал рассказывать дальше, с простодушием человека, считающего свою историю столь же обыкновенной и привычной, как привычны были для него когда-то материнские колени.

С того дня, когда новая пластинка биттлов впервые была прослушана на его проигрывателе, он зачастил на виллу. Пока родители спали после обеда, молодежи делать было нечего — только ждать. На площади, где Дженни любила прогуливаться по вечерам, ловя безмолвные взгляды местных мальчиков, не знающих английского, в эту пору была тощища, и они снова и снова ставили пластинку в просторной беседке на заднем дворе (до того, как крестьянский домик, где они остановились, стал «виллой», беседка была свинарником). Когда же пластинка надоела, Мэтт записал их голоса.

— Наговорите мне чего-нибудь по-африкански!— попросил он.

И Марк выдал ему какую-то дикую мешанину: несколько застрявших у него в памяти зулусских слов и боевой клич, каким воины приветствуют вождя; всякие предупреждения с дорожных знаков и ругательства — на африкаанс. Когда Мэтт запустил ленту, оба брата и сестра в полном упоении откину-

дись на спинки своих шатких стульев, едва удержавшихся на двух задних ножках, но Мэтт слушал очень серьезно, напряженно сощурил глаза, прижал кончик языка к зубам — совсем как орнитолог, которому удалось записать пение редких птиц.

— Ух сила! Вот спасибо! Фан-тастика! Войдет в мой документальный фильм. Кое-что сниму отцовской кинокамерой — думаю, он даст, а кое-что нащелкаю скрытой камерой. Сейчас пишу сценарий. Это у нас, знаете ли, семейное.

Он уже успел им рассказать, что отец его пишет книгу (точней говоря, серию книг — отдельно про каждую страну, где они побывали), а мать ему помогает.

— Работают строго по графику — начинают около полудня и сидят до часу ночи. Поэтому мне велят сматываться из дому рано утром и не показываться, пока они не встанут к ленчу. Потому же самому надо уходить из дому и под вечер: им нужно, чтоб было спокойно и тихо. Чтоб им не мешали спать и работать.

■

Дженни сказала отцу:

— А видел ты, какие у него шорты? Из того самого мадрасского ситца, который так рекламируют. При стирке получают потеки. Купил бы ты нам здесь такие!

— Пап, а транзистор у него — чудо!

Марк сидел босой, он упер большие плоские ступни в каменные плиты двора и задрал подбородок, подставляя лицо солнцу — словно там, дома, оно не светило ему круглый год; впрочем, купался он не в солнечных лучах, а в лучах Франции.

— Н-да, ох и портят же они своих детей, ужас! Вот вам яркий пример: фотоаппарат за пятьдесят фунтов — для него игрушка. А когда они вырастают, им уже нечего больше желать.

Клайву хотелось, чтобы говорили о Мэтте, только о Мэтте, без конца.

— Дома, в Америке, у них «мазерати», ну то есть был раньше, теперь они его продали, ведь они ездят по всему свету,— сообщил он.

— Несчастный мальчишка,— сказала мать.— Из дому его

гонят, шатается по улицам, обвешанный всеми этими жалкими цацками.

— Ну уж прямо жалкие цацки!— Клайв вздернул плечи, с подчеркнутым возмущением развел руками.— За эти аппараты сотни долларов плачены — но это же так, пустячки, жалкие цацки!

— А позвольте вас спросить, мистер, сколько это — доллар?

Дженни еще в самолете выучила наизусть табличку с обменным курсом, их давали пассажирам в туристском агентстве.

— Не знаю, сколько это на наши деньги, я про Америку говорю...

— Клайв, из деревни я никуда тебе с ним отлучаться не разрешаю, слышишь? Гуляйте только по деревне,— изо дня в день повторял ему отец.

Впрочем, Клайв не отлучался из деревни и вместе с семьей — не поехал ни в музей на Антибском мысу, ни в керамические мастерские Валлори, не захотел посмотреть даже дворец, казино и аквариум в Монте-Карло.

Горная деревушка — в чьих улочках так же легко было запутаться, как в длинной и беспорядочной хронологии Европы, как в ее бесчисленных, порою смахивающих друг на друга памятниках старины,— была в их безраздельном владении, его и Мэтта. Вместе с ними здесь хозяйничали лишь бродячие кошки; люди же что-то болтали на своем непонятном языке, и, хоть мальчишки делали то, что им нужно, у всех на виду, трескотня эта как бы служила им завесой, еще надежней укрывала от взглядов взрослых, и без того занятых своими делами. Они без усталости ходили по деревне с утра до вечера с одной заветной целью: выныривать из-за угла, незаметно перебегать улицы, а под вечер, когда площадь заполнялась народом, появляться словно из-под земли то тут, то там и шнырять среди людей — но так, чтобы это не бросалось в глаза. Приходилось, например, незаметно пробираться от церквушки — старой-престарой, с проволоочной сеткой вместо выпавших цветных стекол и слинявшей мозаикой, смахивающей на облупившуюся переводную картинку,— под окна школы, но так, чтобы их не увидели

ребята. Пробираться туда надо было по утрам, когда в школе ^{’оли} занятия. Ее каменное здание по виду ничем не отличалось от ДРУГИХ ^омов — ПРИ нем даже спортивной площадки не было; доносившийся из окон хор ленивых голосов напоминал Клайву школы для черных детей у него на родине. Порой за ^о друзьями увязывались деревенские мальчишки, они гримасничали, передразнивали Клайва и Мэтта, а не то молча шли по ^о пятам, и отделаться от них не было никакой возможности. Доходило и до стычек; вскоре Клайв научился делать пальцами оскорбительные знаки, смысла которых не понимал, и выкрикивать единственное запомнившееся ему французское слово, ихнее ругательство: «Merde!» (*Здесь: черт нас возьми)

А у Мэтта рот не закрывался ни на минуту: то он доверительным полупшепотом говорил с Клайвом по-английски, потом вдруг голос его весело взмывал — это он приветствовал кого-нибудь по-французски, а здоровался Мэтт с каждым встречным — и, прокатившись эхом меж глухих стен, вновь понижался; Мэтт опять переходил на

понятный лишь им двоим английский, и снова они заговорщически сближали головы. Но даже когда голос Мэтта понижался до шепота, его круглые темные глаза с чуть опущенными наружными уголками — это от сосредоточенности морщинок, уже наметившихся над точеным носом,— так и шныряли, не упуская ни одного человека, попадавшего в их поле зрения. Здравовался он не только с местными, но и с приезжими, которых видел впервые. То подойдет к туристской паре, осматривающей здешние достопримечательности, то к водопроводчику, поднимающему крышку люка, и с каждым заводит оживленный разговор. Клайву, который молча стоял рядом, его французский казался куда более настоящим, чем тот, на котором говорили здешние мальчишки. Болтая с кем-нибудь, Мэтт то и дело пожимал плечами и выпячивал нижнюю губу; если же люди, с которыми он заговаривал, были недовольны или удивлены тем, что им без всякого видимого повода навязывается с разговорами какой-то незнакомый мальчишка, Мэтт задавал им вопросы (что это именно вопросы — Клайв улавливал по интонации) тем наигранно-

веселым тоном, каким взрослые говорят с робеющим ребенком, желая его подбодрить.

Бывало и так, что когда они подходили к кому-нибудь из местных жителей, сидящих на жестком стуле у дверей своего дома, тот вставал и захлопывал за собой дверь при первой же попытке Мэтта завязать разговор.

— Все здешние — психованные, вот что я тебе скажу,— восклицал Мэтт, снова переходя на английский.— Я их всех знаю, всех до единого, и говорю тебе точно.

Старухи в перекрученных черных чулках, длинных передниках и широкополых черных шляпах — обычно они сидели на площади и лущили бобы для летнего ресторана Ше Риан — отворачивали коричневые складчатые, словно ядра грецкого ореха, лица и начинали шипеть, как гусыни, ощеривая беззубые десны, стоило только Мэтту к ним приблизиться. Мадам Риан («Когда-то она победила в конкурсе на самую популярную женщину Парижа — нет, ты представляешь? Правда, отец говорит, это было как раз во время всемирного потопа»)— женщина с телосложением борца, которая так же походила на собственное изображение, глядящее с рекламных щитов, как окаменелый ствол на веточку в молодой листве,— при виде Мэтта что-то цедила сквозь зубы, кривя уголок подвижного рта.

— Я сделал с нее мировецкие снимки. Ну, правда, она немножко *passee* (*Здесь: вышла из моды (франц.)).

Однажды их все-таки погнали прочь — это когда Мэтт щелкнул парочку, целовавшуюся на стоянке автомобилей пониже замка. Клайв теперь повсюду таскал за собой свой аппарат-ящичек, но снимал исключительно кошек. Мэтт пообещал устроить так, чтобы Клайв смог снять карлика — обыкновенного здешнего жителя, а не лилипута из цирка,— он жарил на вертеле баранину в одном из ресторанчиков, где ее готовили по какому-то особому местному рецепту; но при этом Мэтт объявил: чтобы стать настоящим, большим фотографом, Клайву не хватает характера. Ему и в самом деле становилось

неловко, стыдно и страшно всякий раз, как огромная голова карлика, непомерно большая для такого маленького человека,— с бачками, прямо как у исполнителя испанского танца,— наливалась кровью от ярости. А вот Мэтту удалось незаметно щелкнуть его «Полароидом»; мальчишки сразу юркнули в какое-то парадное, где с двери свисали цветные хлорвиниловые полоски от мух, и посмотрели снимок. Казалось, огромная голова карлика болтается над щуплым тельцем, словно у куклы бибабо.

— Фан-тастика!— В голосе Мэтта не было хвастовства, просто профессиональное удовлетворение.— До этого он у меня ни разу не получался как следует, такое уж мое везение; прожили мы здесь всего с неделю, и он сбрендил, его свезли куда-то в психушку. И вот только сейчас опять стал вылезать на свет божий,

это здорово, что ты успел на него поглядеть. А то уехал бы к себе в Африку и так бы его и не увидел. ■

Сперва в семье Клайва восхищались мадрасскими шортами Мэтта и его транзистором, охотно пользовались его элегантным маленьким проигрывателем, радовались, что Клайв нашел себе друга, но потом стали находить, что он слишком много болтает, слишком часто к ним приходит и слишком подолгу шатается по улицам. И Клайву было объявлено, что отныне он обязан участвовать хотя бы в некоторых семейных вылазках. То они ездили куда-то за двадцать миль, чтобы поесть ухи. То с полудня до самого вечера проводили в картинной галерее.

— В котором часу мы вернемся?— спрашивал Клайв, вбегая в дом.

— Да кто его знает, к вечеру, должно быть,— отвечали ему.

— К двум не будем дома?

— Чего ради нам связывать себя каким-то определенным часом? Мы же на отдыхе!

И он вновь выбегал на улицу, чтобы сообщить Мэтту этот расплывчатый ответ.

Всякий раз, как они возвращались из очередной поездки, в конце улицы уже маячила обвешанная всякой сбруей

тоненькая фигурка, приветственно махавшая им рукой. Однажды, когда уже стемнело, они нашли его под уличным фонарем рядом с местным дурачком и его собакой; в свете фонаря лица обоих казались плоскими и были исчерчены тенями. Оторвавшись от разговора, Мэтт бросил на них деловитый взгляд — словно ждал человек поезда и заранее знал, что он прибудет вовремя. В другой раз они обнаружили дома необычное послание — на каменных плитках дворика спичками было выложено: ЗАЙДУ ПОПОЗЖЕ МЭТТ.

— Что это за люди такие, не возьмут даже ребенка с собой на пляж поплавать,— удивилась как-то мать Клайва.

Но Клайв пропустил ее слова мимо ушей. Он ни разу не бывал в розовом домике с высокими горшками. Мэтт возникал неизвестно откуда, как бродячая кошка, и у него всегда водились деньги. Мальчики отыскивали забегаловку, где продавали особенную жевательную резинку — «бульбульку»: когда ее жуешь, идут пузыри, а иногда они брали оладьи; в первый раз, когда Мэтт сказал, что сейчас им подадут crepes и какое Клайв хочет к ним варенье, Клайв даже не понял, о чем речь. Платил всегда Мэтт: ведь он работает над документальным фильмом и к тому же пишет книгу.

— За ребячьи книги знаете как здорово платят!— объяснял он семейству Клайва.— Если только автор и вправду малолетний.

Книга была про шпионов.

— Здорово закручено!

Он рассчитывает получить за нее порядочно денег, и потом, может, удастся еще загнать в «Тайм» или в «Лайф» кое-какие из снимков — те, что сделаны скрытой камерой.

Но в одно особенно погожее утро мать Клайва, словно выполняя неприятную обязанность, предложила Мэтту съездить с ними в аэропорт: пусть мальчики посмотрят, как приземляются реактивы, пока взрослые будут заказывать билеты.

— Возьмите себе лимонаду, если захочется,— предложил отец Клайва, давая этим понять, что заплатит сам, когда вернется. Они заказали лимонаду, съели вдобавок по порции

мороженого, а потом Мэтт объявил, что не отказался бы от чашечки черного кофе, чтобы все это смыть; словом, они взяли два кофе, и, когда отцу Клайва подали счет, он был явно раздосадован — в Южной Африке кофе стоит гроши, но здесь, во Франции, с вас норовят содрать даже за стакан воды, которым вы его запили.

— Я запросто могу выпить пять, а то и шесть чашек кофе в день, моей печенке это не вредит,— объявил Мэтт каждому в отдельности. А потом, в Ницце, мальчикам

пришлось таскаться вокруг площади Массена вместе с Дженни (ей хотелось купить себе рубашку поло, какую носят все французские девочки)— им не позволили даже сходить поглядеть на фонтан: как бы не заблудились. Голос Мэтта, казалось Клайву, упал до шепота, но он его совсем не слушал и не отвечал: здесь Мэтт был попросту придатком к семье Клайва, таким же обыкновенным мальчишкой, как другие.

День был субботний, и, когда они ехали домой по крутой улочке (дурачок со своей собакой примостился к столбу только что поставленного светофора, и Мэтт, вновь обретя голос, прокричал ему в окно машины какое-то французское приветствие), деревню уже заполонили туристы, наезжавшие сюда в конце недели. Сразу же после ленча оба мальчика побежали к условленному месту встречи — под мемориальной доской, сообщавшей, что на этой улице родился Ксавье Дюваль, участник Сопротивления, убит 20 октября 1944 года. Клайв явился первым; добросовестно следуя примеру друга и прибегнув к его же уловке, он щелкнул Мэтта — тот даже не заметил, что его снимают, и Клайв ужасно обрадовался. Вообще, это был один из их лучших дней.

— В субботу всегда бывает улов,— сказал Мэтт.— Все эти психи вылезают на улицу. Тут, братец, только не зевай. Я написал главу четырнадцатую своей книги — за ленчем. Вся еда была на подносе, у меня в комнате — понимаешь, они вернулись домой в четыре утра и к ленчу не встали. Действие происходит в аэропорту — помнишь, когда взлетал реактив, грохот был такой, ты только видел, как у меня губы движутся, а разобрать ни словечка не мог. Ну так вот, человека убивают,

когда он пьет кофе в буфете: он кричит, а никто не слышит.

Они бродили по стоянке, любовно оглаживая поблескивающие капоты гоночных машин, и поглядывали то на пуделей, сцепившихся у самой площадки для игры в шары, то на людей, готовых передрасться у входа в тоннель, где была мужская уборная.

— Да ну их, я уже столько наснимал всяких преступных типов, на всю жизнь хватит,— сказал Мэтт.

Прошли мимо старой девы в цветастых брюках, проливающей слезы над своим пуделем — тот был цел и невредим, хоть и участвовал в драке; поднялись по каменным ступеням на площадь, где в этот час толпились все приезжие, чьими машинами была забита стоянка и прилежащие узкие улочки, и многие из местных — одних привлекала арабская музыка, гремевшая в лавочке неподалеку от замка (хозяева ее были выходцы из французского Алжира), других — доносившиеся из ресторана Ше Риан глуховато-страстные звуки голоса самой Риан — пластинка той поры, когда талант ее был в расцвете. Был тут и карлик; он что-то цедил сквозь зубы, обращаясь к белокурой красавице американке, и, казалось, вот-вот ее искушает — друзья блондинки чуть не лопались со смеху, но старались не подавать виду и потому глядели на него вполне дружелюбно. Старухи в передниках и широкополых черных шляпах посиживали на скамейках. Тут же прогуливались еще пудели и итальянская борзая, похожая на стилизованную брошку из гнутой проволоки... Мужчины и женщины в купальниках шли, держась за руки, заглядывали на ходу в двери лавчонок и баров и тянули друг друга дальше — точь-в-точь как псы на разукрашенных поводках тянули своих хозяев. Когда мальчики проходили мимо пирожковой, Мэтт увидел там семейство Клайва — по-видимому, оно лакомилось своими любимыми оладьями с ликером,— но Клайв поспешно дернул его за руку и потащил дальше.

Потом они немножко посмотрели, как играют в шары; местный чемпион, мясник, лез из кожи вон, работая на публику. Был он весь розовый, в рубашке-сетке, сквозь ячейки которой пробивались пучки рыжеватых волосков, сплетаясь словно

стебельки выющегося растения. Увидев сидящего в спортивной машине человека в черной накидке и с длинными, словно у кота, усами торчком, Мэтт

встреппенулся:

— Боже, да я его чуть не месяц стараюсь подловить!

Он нырнул в людскую гущу, Клайв — за ним. Зигзагами пробирались они сквозь толпу зрителей, обступивших площадку, где играли в шары. Человеку в накидке каким-то образом удалось въехать на своей маленькой спортивной машине прямо на площадку: это было запрещено; но как ни кричал на него полицейский (работал он только раз в неделю — по субботам, во второй половине дня), спуститься с площадки усачу никак не удавалось: стоило ему найти какой-то просвет, как он тотчас же заполнялся все прибывающей толпой.

— Он художник,— объяснил Мэтт.— Живет над сапожной мастерской — дыра такая, ты знаешь где это. На свет божий вылезает только по субботам и воскресеньям. Не вредно бы сделать с него парочку хороших снимков. Похоже, он из тех, кто потом становятся знаменитыми. Форменный псих, а?

С художником была девушка, одетая под Шерлока Холмса: мужской костюм из твида, войлочная шляпа.

— Машина, наверно, ее,— решил Мэтт.— Пока он еще не прославился, но я могу и подождать.— Он извел на усатого почти целую пленку.— Когда имеешь дело с современным художником, снимать надо в необычных ракурсах.

Сегодня Мэтт был особенно разговорчив, даже зашел в бар Зизи — поздоровался с ее мужем, Эмилем. Семья Клайва все еще сидела в пирожковой; отец поманил Клайва, но тот притворился, будто не видит. Потом все-таки зашел, пробрался между столиками.

— Да?

— Тебе денег не нужно?

Но прежде чем Клайв успел ответить, Мэтт стал отчаянно сигналить ему большим пальцем: «Давай сюда!» Клайв рванул к нему, но его остановил голос отца:

— Клайв!

А Мэтт уже бежал к ним во весь дух:

— Там — женщина — сейчас — шмякнулась — то или в обмороке — то ли умерла — то ли еще что. Бежим скорей!

— А зачем?— спросила мать Клайва.

— Господи помилуй,— сказала Дженни.

Но Клайв бросился вслед за Мэттом. Они энергично работали локтями, проталкиваясь к спуску с площадки, где на расчищенном кусочке мостовой лежала толстая женщина. Платье ее задралось, изо рта шла пена. Прохожие оживленно спорили между собой, чем ей помочь, то и дело кто-нибудь пробкой выскакивал из толпы и подбегал к ней. Одни пробовали ее поднять, другие — те, кто считал, что двигать ее нельзя,— их оттаскивали. Кто-то снял с нее туфли. Еще кто-то сбегал за водой в ресторан Ше Риан, но пить она не могла. Как-то на днях мальчики заметили рабочего в синем комбинезоне и измазанных цементом башмаках — он храпел у старой водоразборной колонки возле бара «Табак», где обычно пьют мужчины. Мэтт и его щелкнул: ведь спящего, если уж очень понадобится, всегда можно выдать за покойника. Но этот снимок будет еще похлеще. Мэтт доснял остаток той пленки, которую почти целиком извел на усатого художника, и успел заложить новую, а женщина все лежала; но вот, перекрывая шум толпы и громкую музыку, послышался длинный, с перепадами, вой сирены — снизу, из порта, мчалась по дороге «скорая помощь». Въехать на площадку машина не могла; санитары в форме пронесли носилки над головами людей, положили на них женщину, подняли ее. Лицо ее было синеватобагровым, словно замерзшие пальцы в холодное зимнее утро, ноги раскинуты. Мальчики вместе с другими составили почетный эскорт, сопровождавший ее к машине; Мэтт, держа аппарат на колене, продвигался вприсядку, будто

отплясывал русскую,— хотел непременно снять распростертое тело с нижней точки.

Когда женщину увезли, они побежали в пирожковую — поскорей сообщить сенсацию родным Клайва, но тех это нисколько не интересовало: они ушли на виллу, не дождавшись Клайва.

— Да, тебе будет что показать там у себя, в Африке!— объявил Мэтт.

В тот день он снимал «Миноксом» и пообещал, когда пленка будет проявлена, сделать копию и для Клайва.

— Вот черт, придется нам ждать, пока предки не свезут мои пленки в Ниццу,— здесь проявить негде. А ездят они туда только по средам.

— Но к тому времени я уже уеду,— неожиданно вставил Клайв.

— Как, уедешь? Обратно, в Африку?— Огромное расстояние вдруг пролегло между ними — вот сейчас, когда они стояли голова к голове в толкотне деревенской улочки,— и не только все мили между их континентами, но и века, когда Африка была всего лишь контуром на карте.— Ты хочешь сказать, ты уже будешь в самой Африке?

■

фотоаппарат Клайва был водворен в его шкаф вместе с другими европейскими сувенирами — казалось, когда их распаковали, они лишились всей своей притягательности здесь, в родной, домашней обстановке, привычку к которой все ощутили с новой остротой. В самый первый день учебного года Клайв, правда, немножко похвастал — побывал, мол, там-то и там-то; но прошел какой-нибудь месяц, и, когда города и дворцы, которые он видел своими глазами, упоминались на уроках истории или географии, он уже не рассказывал, что бывал в них; да и потом — картинки и описания в учебниках так мало походили на то, что видел он сам! Как-то Клайв достал фотоаппарат — хотел взять его на спортивное состязание — и обнаружил в нем отснятую пленку. Ее проявили, и оказалось, что это бродячие кошки. Клайв вертел снимки так и этак, стараясь разглядеть тощие, одичавшие создания, разлегшиеся на булыжниках мостовой или размытыми пятнами исчезающие во тьме подземных переходов. Был там и снимок американца Мэтта, тоненького, с непомерно большими коленками (из-за того, что оказались на переднем плане), глядевшего подозрительно и вместе с тем умно из-под копны нестриженных волос.

Вся семья обступила Клайва — посмотреть; все грустно улыбались, охваченные внезапной тоской по прошедшей поезд-

ке — по тому, что в ней было и чего не было.

— Смотри-ка, фоторепортер «Тайма» и «Лайфа» собственной персоной...

— Бедняга Мэтт — какое там у него второе имя?

— Непременно пошли ему этот снимок,— сказала Клайву мать.— Вы с ним договорились переписываться? Ты взял у него адрес?

Но адреса не было. Оказалось, что у мальчика Мэтта нет ни дома, ни улицы — дома номер такой-то на улице такой-то, ни комнаты в доме — как, скажем, та, где собрались сейчас они.

— Америка,— ответил Клайв.— Его адрес — Америка, и всё.

Дом Инкаламу

Дом Инкаламу Уильямсона разрушается и вряд ли выдержит еще хоть несколько дождливых сезонов. А красные лилии перед домом все цветут, словно там кто-то живет. Дом этот был одним из чудес нашего детства, и с месяц назад, когда я вновь приехала в эти края — на празднества по случаю провозглашения независимости,— мне подумалось, что по дороге на боксит-ные рудники надо бы свернуть с магистрали, поглядеть на него. Когда я была ребенком, дом Уильямсона, так же как наша ферма, отстоял на много миль решительно от всего, а теперь он

часах в двух езды от новой столицы. Я приехала в эти края в составе одной из демографических комиссий ООН (меня включили в нее, видимо, потому, что я здесь когда-то жила), и однажды утром, после завтрака в большом столичном отеле, я решила отправиться в путь. В лифте я спускалась вместе с пекинской делегацией; ее члены никогда не ходили поодиночке и никогда ни с кем из нас не разговаривали. Их можно было внимательно разглядывать, каждого по очереди, и при этом ни вы, ни они не испытывали никакого смущения. Я прошла через террасу для коктейлей (на столиках после вчерашнего приема еще стояли миниатюрные флаги разных стран) и покатила по магистрали; по ней можно ехать и ехать, спокойно делая восемьдесят миль в час, покуда не доберешься до крайней точки континента. Вот как я говорю об этом теперь; а ведь когда я росла здесь, для меня это была дорога, ведущая только к нашему дому.

Я полагала, что лес уже основательно сведен, но, едва выехав за городскую черту, убедилась, что он совсем такой же, как поезде. Зверья нигде не было видно, люди попадались

редко. В Африке вообще не знаешь, где тебе встретится чело век; когда я вышла из машины, чтобы попить из фляжки кофе меня так и подмывало крикнуть: есть здесь кто-нибудь? Земля была аккуратно отброшена от обочин. Я сделала несколько шагов в глубь просвеченного солнцем леса; веточки и сухие листья взрывались у меня под ногами, и мне казалось, я все сокрушаю на своем пути. На больших черных муравьев, напоминающих опрокинутые песочные часы, лучше было не засматриваться: когда-то на занятие это у меня ушло много послеполуденных часов. Новая асфальтированная дорога кое-где срезает изгибы старой, и, выехав к реке, я сперва подумала, что проскочила подъездную дорожку к дому Инкаламу. Но нет: вот она, длинная, обсаженная джакарандами аллея, круто спускающаяся к долине,— я не узнала ее потому, что у главной дороги появилась прогалина, а на ней — домик и лавчонка, которых здесь раньше не было. Лавчонка сложена из бетонных блоков, окна забраны решетками, небольшая веранда — именно такое заведение, какие стали теперь в наших местах открывать африканцы, делавшие раньше покупки у индейцев и белых. У въезда, как прежде, стояло большое манговое дерево; к нему была прибита самодельная вывеска: ПИВО КВАЧА СИГАРЕТЫ ВСЯКИЙ СОРТ. Под деревом разгуливали куры и стоял какой-то человек; велосипед его валялся рядом — словно рухнул от теплового удара.

— Могу я пройти к дому?— спросила я.

Человек подошел, склонив голову набок и жмурясь от налетавших мух.

— Дом не разрушился?

Он покачал головой.

— Кто-нибудь живет в доме? В большом доме?

— Никого не жить.

— Можно мне пойти взглянуть?

— Вы можно пойти.

Гравия на подъездной аллее почти не осталось. По середине ее тянулась гривка, она царапала днище приземистой американской машины. Джакаранды буйно разрослись; в это время года они не цвели. Говорили, что Инкаламу проложил эту длинную,

полторы мили аллею, взяв за образец подъездную дорогу для экипажей в своем родовом поместье в Англии; но вероятней другое: как это случалось с приезжавшими в колонии англичанами, отсюда, издавека, его социальное положение казалось ему куда более высоким, чем было на самом деле, и аллея, ведущая к большому помещицкому дому, была всего лишь игрой соображения деревенского паренька, который приплелся с поручением в богатую усадьбу и в мечтах видит себя ее хозяином. Таков был весь стиль Инкаламу — стиль бедняка, которому

обстоятельства позволили разыгрывать из себя знатного барина с причудами; ведь здесь он оказался далеко и от аристократов, даже не ведавших о его существовании, и от себе подобных, чьи насмешки он мог бы вызвать.

Теперь-то я это увидела ясно; теперь я все видела в подлинном свете — так, как оно всегда и было на самом деле, а не так, как воспринималось нами в детстве. Показался высаженный перед фасадом кустарник, и я увидела, что только красные амариллисы, растения местные, по-прежнему цветут, хотя за ними никто не ухаживает. Все остальное заглушили заросли. А вот и самый дом; он осел, накренился под собственной тяжестью; крытая соломой кровля над окнами мансарды сползала вниз, к высокой траве, из стеблей которой была сделана. Вид дома не вызвал у меня тоски по прошлому — просто чувство узнавания. Как и все наши дома в начале тридцатых годов, он был обмазан красной глиной, но Инкаламу, гордо презрев ограниченные возможности материала, сделал его трехэтажным — этакий песочный замок, наподобие английского помещичьего дома с картинки рекламного календаря; крыша с крутыми скатами и широкой трубой на каждом ее конце; портик, к которому ведут широкие ступени. Все предрекали, что дом обрушится Инкаламу на голову, а вот — простоял уже тридцать лет. Со стороны долины к нему поднимались апельсиновая и манговая рощи. Кругом царило глубокое безмолвие брошенного жилья — безмолвие запустения.

Я хотела было пройти в манговую рощу, но, видно, из года в год плоды никто не убирал, они падали на землю и гнили, а из их семян между рядами старых деревьев выросли сотни

чахлых побегов, и получилась темная чаща. Заходить в дом я не собиралась, просто решила его обойти, чтобы взглянуть на долину и горы за нею; струи дождя вымыли ров у основания осевших стен, и мне приходилось держаться за выпирающие наружу изгибы ржавых водопроводных труб. Дом был близок мне, как живое существо. Окна первого этажа — с листьями жести вместо стекол и покосившимися деревянными рамами — и окна второго этажа, затянутые проволочной сеткой, были полуоткрыты, словно рот спящего старика. Обойти вокруг дома мне не удалось: со стороны долины заросли подобрались к самым стенам; я хотела было подтянуться и заглянуть внутрь. Но глина и обмазанный ею каркас, плетенный из неошкуренных и кривых ветвей, стали рушиться у меня под ногами: глина крошилась, а изъеденные муравьями ветви ломались. Хотя дом, вопреки предсказаниям белых поселенцев, и не обрушился на самого Инкаламу и его черных детей, я подумала, что сейчас он вполне может обрушиться на меня. Осы роились у моего рта и глаз, словно им тоже хотелось посмотреть, что там внутри — у меня. Дома Инкаламу, где могли разместиться по меньшей мере человек десять, им, видимо, было мало.

Вернувшись к фасаду, я поднялась по ступеням — в детстве мы сживали на них, выцарапывая на глине крестики и нолики, пока мой отец находился в доме. Не то чтобы мы дружили семьями; дружили между собою дети, а это не в счет. У меня и отец и мать были белые, отец был членом Законодательного собрания, Инкаламу же сам был белый, но жены его были черные. Отец иногда являлся к хозяину дома с деловым визитом: ведь Инкаламу был не только торговцем и профессиональным охотником (это африканцы прозвали его «Инкаламу», что означает «Лев»), но в те времена еще и крупным землевладельцем; однако мама никогда отца не сопровождала. Когда я и мои братья приходили сюда одни, дети Инкаламу не приглашали нас в дом; да это вроде и не был их дом — в том смысле, в каком наша маленькая ферма была домом для нас, и, пожалуй, Инкаламу даже не знал, что иногда мы сюда наведываемся — просто так, поиграть с его детьми, да и наши родители понятия не имели, что мы здесь бываем тайком. Порою мы являлись

не одни, а с отцом (для нас был особый смак в том, чтобы приходить открыто, с

ним вместе), и в таких случаях, после того, как с делами бывало покончено, нас неизменно приглашал в дом Инкаламу Уильямсона: соломенные кудрявые волосы его ниспадали до плеч, как у Иисуса Христа, незастегнутая рубашка открывала обожженную солнцем грудь и наползающий на нее верх живота. Он оделял нас сладостями, а собственные его дети — те, кто решался проскользнуть вслед за нами в дом,— стояли поодаль и смотрели. Мы поедали лакомства у них на глазах, не испытывая при этом ни малейшей неловкости: ведь все они были разных оттенков коричневого или желто-коричневого и, значит, совсем не такие, как Инкаламу, наш отец и мы сами...

Кто-то связал обе ручки двустворчатой входной двери грязною тряпкой, чтобы она не распаивалась, но я сорвала тряпку палкой, после чего без труда отворила дверь и вошла. В доме еще сохранились кое-какие вещи. В холле стоял верстак с тисками, на полу валялось несколько сорванных со стены полок, а через сводчатый проход виднелись стоявшее в гостиной кресло и кипы бумаг. Сперва у меня мелькнула мысль, что здесь еще кто-то живет. В доме был полумрак и, как прежде, пахло землей. Но когда глаза мои привыкли к сумраку, я увидела, что обе части тисков словно сплавлены ржавчиной, а от обивки кресла осталась лишь вытертая полоска искусственной кожи. Пол был усеян мышиным пометом. В гостиной груды были навалены книги — казалось, их сбросили на пол временно, перед весенней уборкой; я раскрыла одну из них: страницы были словно склеены плесенью и аккуратными катышками красной земли — ее натащали муравьи. «Сказка о бочке» (*Памфлет английского писателя Дж. Свифта (1667-1745)), «Мистер Перрин и мистер Трэлл» (**Роман английского писателя Хью Уолпола (1884-1941)), «Двадцать тысяч лье под водой» (***)Роман французского писателя Жюль Верна(1828-1905)), красные книжечки библиотеки «Эвримен» вперемежку с номерами журналов «Титбитс» и «Фармерз уикли». Комната эта — с покосившимися глиняными нишами, выкрашенными розовой

и зеленой краской, с колоннами в синих и лиловатых червеобразных разводах (явно расписанными «под мрамор» кем-то, кто мрамора в глаза не видел, но тщился дать о нем представление людям, вообще не знающим, что это такое),— комната эта и всегда-то казалась нежилой.

Шведское бюро хозяина напоминало переполненную голубятню: оно до отказа было набито счетами, готовыми вспорхнуть и разлететься от малейшего сквозняка; раньше это бюро стояло на неровном полу одного из холлов, который был больше всех неопрятных комнат-клетушек, вместе взятых. А здесь, в гостиной, Инкаламу выполнял некоторые официальные обязанности — например, оделял сладостями нас, детей. Едва ли кто-нибудь и вправду сживал здесь меж горшков с папоротниками или читал у камина перед настоящим огнем. Да и весь дом был на удивление нежилой; с виду он был почти как настоящий, но стоило войти внутрь и сразу становилось ясно, что это вовсе не замок англичанина, а так, наивная подделка, мечта о нем, воплотившаяся в сооружение на африканский лад — с каркасом, плетеным из ветвей и обмазанным глиной; нечто вроде самодельного реактивного лайнера из кукурузных стеблей, который на прошлой неделе, когда мы приземлились, пытался продать в аэропорту мальчуган африканец.

Полоски света пробивались в зазоры между досками над моей головой. Когда Инкаламу поднимался за чем-нибудь наверх, с его огромных ботинок в зазоры эти сыпался красный песок. Он и в одежде всегда выдерживал свой особый стиль: носил краги, а ремешок старинных часов с потускневшим циферблатом, красовавшихся на его широченном круглом запястье, был из змеиной кожи. Я вышла в холл, чтобы осмотреть лестницу,— как будто в порядке, не хватает лишь нескольких ступенек. Перила, сделанные из поручней старого трамвая, были на месте, и, пока я взбиралась наверх, на руки мне налипли чешуйки отставшей алюминиевой краски. Я

успела уже позабыть, до чего безобразен дом наверху, но ведь я и бывала там, вероятно, очень редко; невозможно было понять, живут дети Инкаламу вместе с ним, в доме, или же ходят ночевать в крааль, к своим матерям. Думаю, что любимые его дочери время от вре-

мени жили здесь; во всяком случае, они носили обувь и у них были ленты в волосах — кстати, очень красивых волосах, каштановых с рыжим отливом и курчавых, как пена; когда мне было лет шесть, я однажды сказала, что хотела б иметь такие волосы, как у дочек Уильямсона, и не могла понять, почему мои братья от смеха стали кататься по полу. Впрочем, довольно скоро я достаточно подросла, чтобы уразуметь, в чем тут дело; с тех пор, рассказывая эту историю, я и сама всякий раз принималась фыркать.

Верхние комнаты наполнились жужжанием ос; маленькие их окна были довольно высоко, словно в тюремной камере. Как хорошо, что здесь все изгрызают и растаскивают муравьи, размывают струи дождя, что все это постепенно пожирается и, переварившись, превращается в удобрение — уходит в землю. Как отрадно, что дети Инкаламу избавились от этого дома, что никто из них не остался в жилище отца, известного в здешних местах своими чудачествами белого поселенца старой закваски, для которого было вполне естественным держать своих жен в краале, а детей, словно домашних животных, брать в дом. Как отрадно, что школа, куда их не допускали в ту пору, когда там учились *мы*, теперь открыта для их детей, а наш клуб поселенцев, членом которого ни один из них в те времена стать бы не мог, сейчас закрыт; и если я встречу с ними теперь, они поймут (как поняла и я), что когда девочкой я поедала сладости у них на глазах, то ведь и они и я были тем, что из нас сделали наши отцы — их и мой... И вот я в знаменитой ванной Инкаламу Уильямсона; некогда она была символом цивилизации и ей дивился весь округ: те выпирающие из наружных стен ржавые трубы, за которые я хваталась, обходя дом, в ту пору были для нас чудом сантехники. Унитаз кто-то забрал, но бачок вместе с цепочкой еще висел на стене, весь в зеленых слезах яри-медянки. Никто не удосужился выбросить лекарства Инкаламу. Судя по всему, последние года два своей жизни он угасал, и тогда-то, наверно, пришел конец всему — и его чванству, и жесткости, и охотничьим вылазкам, и силище, которой хватило б на десятерых. Судя по истлевающим этикеткам, лекарства приходили издалека, из разных городов за тысячи миль

отсюда: м-ру Уильямсону — микстура; пилюли — три раза в день; при надобности; при болях... Как отрадно, что Уильямсоны избавились от своего белого отца и зажили собственной жизнью. Неожиданно для себя я ударила кулаком по одной из разбухших рам, и окно распахнулось.

Открывшийся моим глазам вид, безмолвие, струистый от зноя воздух — все это подействовало на меня, словно возложенная на голову умиротворяющая рука. Заросли подходили к самому дому: акация сплошь в желтых цветах, находящиеся один на другой розовые, темно-лиловые и зеленые зонтики *мсасы*, махагониевые деревья с плодами-кастаньетами, а много выше, с обеих сторон, какие-то остроконечные гранитные вершины, все в пятнах лишайника — будто присела на них птица Рух и усыпала своим пометом. Восторг пустоты вошел в мою грудь. Я вбирала его, открыв рот. Бог ты мой, эта долина!

И все-таки я не стала задерживаться наверху. Спустилась по сломанной лестнице вниз и вышла из дому, так и оставив окно открытым — пусть себе трепыхается, как страница распахнутой книги; пусть сюда попадет больше дождевых струй, пусть больше летучих мышей и стрижей совьют себе здесь гнезда. Но в конце концов дом засыплут могильной землей муравьи. Открывая разбухшую входную дверь, перед тем неплотно закрывшуюся за мною, я увидела их — они ползли в дом непрерывной цепочкой, ведущей от жизни к смерти: тащили зернышки красной земли,

под которой будет погребен дом.

Муравьи были черные и по форме напоминали песочные часы. Я с трудом оторвала от них взгляд — стыдно вот так попусту переводить время — и вдруг почувствовала, что за мной наблюдают. В аллее стоял босоногий молодой африканец, руки его были сведены впереди, словно держали невидимую шляпу. Я поздоровалась с ним на местном наречии — слова эти сами сорвались у меня с языка,— и он попросил меня дать ему работу.

Стоя на ступеньках перед входом в дом Уильямсонов, я рассмеялась:

— Я не живу здесь. Дом пустует.

— Моя целый год нет работа.

Фразу эту он отчетливо произнес по-английски — быть может, с целью продемонстрировать, что обладает еще и этим умением наряду с прочими.

— К сожалению, ничем не могу помочь. Я живу очень далеко отсюда,— пояснила я.

— Моя стряпать, и по саду тоже,— добавил он.

Мы постояли, не зная, что еще сказать друг другу. Потом я пошла к машине, достала из сумочки два шиллинга, протянула ему, и тут произошло нечто такое, чего я не видела с детских лет: так же, как это проделывал один из слуг Инкаламу, когда что-нибудь получал от хозяина, молодой человек стал на колени, хлопнул в ладоши, потом сложил их чашечкой, чтобы я могла опустить туда деньги.

■

Машина подпрыгивала и тряслась на подъездной аллее, увозя меня все дальше от дома, которого я больше никогда не увижу: время его прошло и предано забвению, получило иное наименование — так же, как переименованы общественные здания и улицы в городах нового государства... Хотелось бы только надеяться, что старик оставил изрядные деньги своим детям — Джойс, Бесси и... как звали остальных? И что теперь они могут жить и радоваться тому, что стали гражданами родной страны своих матерей. У перекрестка аллеи и магистрали все так же лежал набок велосипед, владелец его тоже был еще тут, а на веранде лавчонки появилась женщина с маленькой девочкой. Мне подумалось, что она, возможно, имеет какое-то отношение к прежним владельцам участка и надо бы объяснить ей свое вторжение; так что я поздоровалась с нею через окно машины, и она спросила:

— Как, очень было трудно проехать?

— Спасибо, не очень. Большое спасибо.

— Теперь, если кто приезжает, к дому идут пешком. Боязно мне, чтоб на машинах. А уж когда дожди!

Женщина подошла к моему автомобилю. Судя по улыбке, она была из тех, для кого руины — не памятник прошлого, а всего-навсего место, где можно развешивать белье. Была

она молодая, португалка или индианка, с неряшливой копной тусклых кудрявых волос; большие черные глаза ее были воспалены и слезились. Хотя она носила потускневшие золоченые серьги и брошь в виде павлина, на ногах у нее были войлочные шлепанцы, и, пока она подходила ко мне, под ними чуть слышно шуршал песок. У девочки тоже были воспалены глаза; ее прямо-таки заедали мухи.

— Стало быть, участок купили вы?— спросила я.

— Это дом моего отца, он лет семь как помер.

— Джойс!— воскликнула я.— Значит, вы — Джойс.

Она засмеялась — застенчиво, словно ребенок, которого вдруг заставили встать перед классом.

— Я Нонни, младшенькая. Джойс — она постарше, я — после нее.

Нонни. Сколько раз я катала ее на своем велосипеде, и ножонки ее, от колен вниз, свисали с руля. Я назвала себя, исполненная готовности обменяться

семейными новостями. Впрочем, ведь мы никогда не дружили семьями. Она ни разу не была у нас дома. Я сказала только:

— Не могла проехать мимо, не посмотрев, стоит ли еще дом Инкаламу Уильямсона.

— Ну да. Сюда много кто ездит — поглядеть на дом. Только сейчас там такой развал — ужас.

— А где остальные? Джойс, и Бесси, и Роджер?

Оказалось, они живут теперь в разных городах и она не о всех знала точно, кто где.

— Что ж, прекрасно,— сказала я.— Теперь в этих местах все по-другому; дел хоть отбавляй.

Я рассказала ей, что присутствовала на празднествах по случаю провозглашения независимости. Приятно было сознавать — как бы в отместку минувшему,— что теперь у нас с нею немало общего, чего никак не могло быть в прежние времена.

— Вот и славно,— сказала она.

— ...Ну а вы, значит, так и остались здесь. Единственная из всех нас! А в нем уже давно не живут?

Дом незримо присутствовал у нас за спиной.

— Мы жили там с матерью, а выехали — ой, когда же

это?— лет пять назад.— Она улыбалась, приставив руку лодочкой ко лбу: свет резал ей глаза.— А что делать там человеку, так далеко от дороги? Я и открыла лавку вот тут.— Улыбка ее словно бы приобщала меня к ее миру, и он открывался мне: пустынная дорога, знойное утро, один-единственный клиент с брошенным наземь велосипедом.— А куда денешься? Надо попробовать.

— Где же другие участки Инкаламу? Мне помнится, за рекой у него была большая табачная плантация.

— А-а... Ну, та уплыла задолго до того, как он помер. А что с другими участками — не знаю. Просто нам вдруг говорят: их у него больше нет — продал, что ли, или еще чего, не знаю. Другую табачную плантацию оставил братьям — да вы их знаете: два старших брата, они не от моей матери, они от второй; ну а потом оказалось, плантацию уже забрал банк. В общем, не знаю. Понимаете — отец, он с нами про дела никогда не говорил.

— Но у вас же остался этот участок.— Мы с ней принадлежали к новому поколению, она и я.— Вы, безусловно, могли бы его продать. Цены на землю опять поднимутся. Сейчас ведется разведка по всему району — от столицы до бокситных рудников. Продайте участок — да, продайте — и можете ехать куда вздумается.

— Так ведь у нас только дом. Всего и земли — от дома до дороги. Вот этот кусочек,— рассмеялась она.— Все остальное он спустил. Только и оставил нам с матерью что дом. А жить-то надо.

— В точности как мой отец, все то же самое,— посочувствовала я ей.— У нас было большое хозяйство в десять тысяч акров и еще участок возле Лебише. Если бы он сумел удержать хотя бы участок у Лебише, мы бы очень разбогатели — ведь там обнаружили платину.

Но разумеется, ее отец и мой — это было совсем не то же самое.

— Да неужели?— участливо проговорила она, подражая моему университетскому выговору и поставленному голосу.

Мы улыбались друг другу; я — сидя в большой американской машине, она — стоя рядом с нею. Девочка с бантами в волосах держалась за материнскую руку; на ее личико то и дело садились мухи.

— А переоборудовать дом под гостиницу, видимо, нельзя.

— Там такой развал!— она вдруг заговорила извиняющимся тоном беспечной

хозяйки, которую застали врасплох, когда в доме было не прибрано.— Построила я для нас этот вот домик, и мы сразу сюда перебрались. А там и сейчас полно рухляди.

— Да, и еще — книг. Столько книг. Их пожирают муравьи. — Я улыбнулась девочке, как улыбаются чужим детям те, у кого нет своих. За спиной у Нонни рядом с лавкой виднелся домишко наподобие тех, что у белых стоят на задворках для черных слуг.— А разве на книги нет охотников?

— Прямо не знаем, что с ними делать. Так их и бросили. Это надо ж, такую уйму книг он собрал, мой отец.

Что ж, чудачества Инкаламуну были известны.

— А как школа при миссии в Балонди? Ее основательно перестроили, да?

Как мне помнилось, там училась Джойс и кто-то из ее братьев, а может, и все дети Инкаламу. В наше время то была школа только для черных детей, но теперь с этим покончено. Впрочем, ее это, как видно, не особенно занимало. Она только сказала с вежливым интересом:

— Да, кто-то на днях что-то такое говорил.

— Ведь и вы когда-то учились в той школе, правда?

Она коротко рассмеялась — над самой собою — и качнула руку девочки.

— Да я никогда отсюда не уезжала.

— Никогда? Право же...

— Отец меня сам учил немножко. Даже где-то учебники завалялись — там, в этой груде. Право же.

— Ну что же, надеюсь, дела в вашей лавке пойдут хорошо,— сказала я.

— Эх, мне бы лицензию на коньяк. А так что — только пиво продавать можно. Мне бы лицензию на коньяк, понимаете... Верно вам говорю, тогда б я мужчин сюда привадила....

Она хихикнула.

— Ну так, чтобы попасть к трем на рудник, мне пора двигаться,— сказала я.

Она по-прежнему улыбалась — просто чтоб сделать мне приятное; у меня даже закралось подозрение, что она вообще меня не помнит — да и откуда ей помнить? Ведь когда я сажала ее на руль своего велосипеда, ей было не больше, чем сейчас ее дочке. Но она вдруг сказала:

— Схожу в лавку, приведу мать.

Она повернулась вместе с девочкой, и, пройдя через тень веранды, обе скрылись в лавке. Но почти сразу же вышли — вместе с сухонькой чернокожей женщиной, согнувшейся то ли от старости, то ли в глубоком поклоне, не скажу точно. Она была в головном платке и длинной широкой юбке из бумажной ткани, синей с белым, в мелких узорах — в дни моего детства штуки такой материи можно было видеть на прилавке каждой лавочки. Я вышла из машины, пожала ей руку. Не глядя на меня, она хлопнула в ладоши и почтительно склонила голову. Была она очень худа, узкую грудь обтягивала севшая от стирки желтая кофта, застегнутая стеклянной брошкой в форме цветка; нескольких лепестков не хватало, и эти пустоты в венчике зияли, словно дыры от выпавших зубов.

Теперь они все трое стояли передо мной. Я повернулась к девочке — та терла глаза руками, вокруг которых вьюнком обвились колечки волос.

— Значит, теперь, Нонни, у вас у самой дочка.

Она усмехнулась, подтолкнула ребенка ко мне.

— Что у тебя болит, детка?— спросила я девочку.— У нее что-то с глазами?

— Да. Красные все и чешутся. У меня тоже, но не так сильно.

— Это конъюнктивит,— объяснила я.— Она вас заразила. Надо бы обратиться к врачу.

— Не знаю, что это. У нее уже две недели так.

Тут мы обменялись рукопожатием, и я решила про себя ни в коем случае не

прикасаться к лицу, пока не вымою рук.

— Значит, вы в Калондве, на рудники.

Мотор уже работал. Она стояла скрестив руки на груди — в обычной позе покидаемых.

— Между прочим, насколько мне известно, старый доктор Мэдли снова в этих краях; он там, в Калондве, работает в медицинском центре Всемирной Организации Здравоохранения.

Когда все мы были детьми, Мэдли был единственный врач в нашем округе.

— Да, да!— подхватила она преувеличенно заинтересованным тоном вежливой собеседницы.— А знаете, он ведь не знал, что отец помер, приехал его навестить!

— В таком случае я передам ему, что видела вас.

— Да, передайте.— Чтобы заставить девочку помахать мне на прощание, она отвела ее вялую пухлую ручку от глаз, приговаривая:— Баловница ты, баловница.

Я вдруг вспомнила:

— Кстати, как теперь ваша фамилия?

Прошли те времена, когда никто не потрудился б спросить у женщины — если только она не белая,— как ее фамилия по мужу. А говорить о ней как о дочери Инкаламу мне не хотелось. Благодарение богу, она теперь избавлена и от него, и от той доли, которую он и ему подобные ей уготовили. Все это сгинуло, сгинул и сам Инкаламу.

Она теребила сережки и, стараясь бодриться, улыбалась — не в тяжком смущении, а задушевно, застенчиво, как человек, признающий свою вину.

— Да чего там, просто мисс Уильямсон. Скажите ему — Нонни.

Я вырулила на магистраль осторожно, чтоб не обдать их пылью, и, набирая скорость, видела в зеркальце, что она все сгибает своею рукой ручку девочки, заставляя ее махать мне вслед.

Любовники городские и деревенские

I

Доктор Франц-Иосиф Лейнсдорф — геолог. Он всецело поглощен своей работой, ушел в нее, как говорится, с головой, и год за годом она затягивает его все больше, заслоняя от него пейзажи, города и людей, где бы он ни жил, будь то Перу, Новая Зеландия или США. И таким он был всегда, как могла бы подтвердить его мать в Австрии, откуда он родом. Еще кудрявым малышом он отворачивался от нее к своим камешкам и образцам породы, так что видела она его только в профиль. И немногие развлечения, которые он иногда себе позволяет, тоже с тех пор почти не изменились — поехать в горы покататься на лыжах, послушать музыку, почитать стихи. Райнер Мария Рильке однажды гостил у его бабушки в охотничьем домике среди лесов Штирии, и мальчика приобщили к стихам Рильке в самом нежном возрасте.

Пласты за пластами, страна за страной — и вот уже почти семь лет он живет в Африке. Сначала Берег Слоновой Кости, а последние пять лет — Южная Африка. Контракт ему предложили потому, что здесь недостает квалифицированных кадров. Политика стран, в которых он работает, его не занимает. Его специальность внутри специальности — исследование подземных водных потоков, но горнорудную компанию, пригласившую его на важную, хотя и не административную должность, интересует только разведка полезных ископаемых. А потому он много времени проводит в поле (здесь это вельд), разведывая новые залежи золота, меди, платины и урановых руд. Когда он не в разъездах, а дома («дома» в данном случае и в данной стране означает в этом городе), он живет в предместье, в двухкомнатной квартире с декоративным садом, и делает покупки

в универсаме, удобно расположенном как раз напротив. Он не женат — пока еще. Во всяком случае, именно так определили бы его семейное положение сослуживцы, а также стенографистки и секретарши в правлении горнорудной компании. И мужчины и женщины сказали бы, что он красив, но в иностранном духе. Нижняя половина его лица словно бы принадлежит пожилому человеку (губы у него узкие, их уголки опущены, и как бы тщательно он ни брился, щетина все равно проглядывает, точно порошинки, впившиеся в кожу вокруг рта и на подбородке), а верхняя часть, наоборот, выглядит очень молодо: глубоко посаженные глаза (серые, говорят одни, а другие говорят — карие), густые ресницы и брови. Непонятный взгляд, такой сосредоточенный и задумчивый, что порою кажется пылким и томным. Это-то и имеют в виду женщины в правлении, когда говорят, что в общем он привлекателен. Хотя этот взгляд словно бы сулит что-то, он ни одну из них ни разу никуда не приглашал. По общему убеждению, его, скорее всего, ждет невеста, которую ему подыскали там, у него на родине, в Европе, откуда он приехал. Эти образованные европейцы обычно предпочитают не превращаться в эмигрантов — их равно не привлекают ни остатки колониального господства белых, ни романтическое служение Черной Африке.

Однако жизнь в странах слаборазвитых или только-только начинающих развиваться имеет одно несомненное преимущество — квартиры сдаются с обслуживанием. Доктору фон Лейнсдорфу остается только самому покупать продукты и готовить себе ужин, если ему не хочется идти вечером в ресторан. Ему достаточно зайти в универсам по дороге от машины до двери, когда он возвращается домой во второй половине дня. Он катит тележку вдоль полок, на которых все необходимое для удовлетворения его скромных потребностей красуется в виде консервных банок, коробок, тюбиков, бутылок, упакованного в целлофан мяса, сыра, фруктов, овощей... У касс, куда сходятся в очередь покупатели, на стойках лежат всякие мелочи, о которых вспоминают в последнюю минуту. Тут, пока кассирша, цветная девушка, нажимает кнопки кассового аппарата, он берет сигареты, а иногда пакетик соленого мин-

даля или плитку нуги. Или пачку лезвий, если вспоминает, что его запас подходит к концу. Как-то вечером, зимой, на стойке не оказалось лезвий той марки, которую он предпочитал, и он сказал об этом кассирше. Обычно от этих цветных кассирш трудно добиться толку: они берут деньги и бьют по кнопкам с педантичностью, которая сопутствует малограмотности, четко устанавливая пределы, в которых они обслуживают покупателей. Однако эта кассирша внимательно оглядела полку с лезвиями, извинилась, что не может пойти справиться, и сказала, что постарается, чтобы «к следующему разу» ассортимент был пополнен. Дня два спустя, когда он подошел к ней, она его узнала и сказала очень серьезно:

— Я спрашивала, только на складе этих лезвий нет. Вам придется взять другие. Но я спрашивала.

Он сказал, что это пустяки.

— Когда их доставят, я отложу для вас несколько пачек.

Он поблагодарил ее.

Всю следующую неделю он провел в поле и вернулся в город только в пятницу, когда уже темнело. Он шел от машины к дому, нагруженный чемоданом, парусиновыми сумками, планшетом, и вдруг в гуще толпы на тротуаре кто-то робко преградил ему путь. Не глядя, он сделал шаг в сторону, но тут она заговорила:

— Мы получили лезвия... Всю неделю я не видела вас в магазине, но отложила несколько пачек на случай, если вы придете. Так вот...

Теперь он ее узнал. Он в первый раз видел ее во весь рост. И в пальто. Для цветной она была невысока и хорошо сложена. Пальто казалось коротковато, но из-под него не выставлялся пышный зад. От холода ее скулы приобрели оттенок

спелого абрикоса. Щеки были чуть впалыми, гладкая кожа маленького, тонко очерченного лица отливала атласной желтизной, точно древесина некоторых деревьев. Волосы курчавились, но были стянуты на затылке в небольшой пучок и упрятаны под дешевым искусственным шиньоном, какие (он это заметил) в универсаме лежали рядом с бритвенными лезвиями среди прочих мелочей. Он поблагодарил ее, но сказал, что торопится

— он только что вернулся из поездки,— и в подтверждение кивнул на свою ношу.

— Очень тяжело!— сказала она.— Но, если хотите, я могу сбежать и взять их для вас. Если хотите.

Он сразу понял, что она имеет в виду только одно: она вернется в универсам, купит лезвия и принесет их сюда, где он сейчас стоит посреди тротуара. И наверное, поэтому он сказал ласковым, но требовательным тоном, каким обращаются к услужливым подчиненным:

— Я живу как раз напротив, в «Атлантиде». Вот в этом доме. Не могли бы вы занести их мне? Квартира семьсот восемнадцать на седьмом этаже....

Она еще ни разу не бывала внутри дорогих многоквартирных домов, рядом с которыми работала. Сама она добиралась домой на автобусе, а потом на поезде, потому что жила к западу от города, хотя и по эту сторону черных пригородов, в квартале, предоставленном людям ее цвета кожи. В вестибюле «Атлантиды» был бассейн с папоротниками — настоящими, а не пластмассовыми — и даже крохотный водопад, низвергаемый на камни электрическим насосом. Она не стала ждать лифта с табличкой «Грузовой», а вошла в лифт для белых, и туда же, ведя на поводке собачку, длинную, как сосиска, вошла белая женщина, но не обратила на нее никакого внимания. Коридоры, ведущие к дверям квартир, были все застеклены, и нигде не дуло.

Он прикинул, что за услугу ей следует дать двадцать пять центов,— будь она черной, хватило бы и десяти. Но она сказала:

— Нет, нет.... пожалуйста, вот...— и, стоя перед его распахнутой дверью, неловко всунула ему в руку сдачу с денег, которые он дал ей на лезвия. Она улыбалась — в первый раз — с достоинством, отказываясь от чаевых. Было очень трудно понять, как обходиться с этими людьми в этой стране,— понять, чего они ждут. Вот она смущенно отказалась взять двадцать пять центов, однако продолжала стоять перед дверью, очень скромно, засунув кулачки в карманы дешевого пальто, потому что пришла с холода, а ее стройные и, пожалуй, красивые ноги были аккуратно сдвинуты, колено к колену, лодыжка к лодыжке.

— Может быть, выпьете чашечку кофе...

Нельзя же было пригласить ее в кабинет, служивший также гостиной, и предложить ей чего-нибудь покрепче. Она пошла за ним на кухню, но, когда пододвинула единственный стул, чтобы выпить кофе за кухонным столом, он сказал:

— Нет, отнесите его туда.— И провел ее в большую комнату, в которой среди книг и бумаг, среди папок с научной перепиской (и коробок из-под сигар со снятыми с конвертов марками), среди стеллажей с пластинками, среди образцов минералов и горных пород он жил совсем один.

■

Ее это нисколько не затрудняло, и она избавила его от необходимости заходить в универсам: раза два-три в неделю делала за него покупки и приносила ему домой. Он только оставлял список и ключ под ковриком перед дверью, она заходила за ними в обеденный перерыв, а после работы приносила все купленное на кухню. Иногда он бывал дома, иногда нет. Он купил коробку шоколадных конфет и оставил с запиской на кухне — по-видимому, такой знак благодарности был приемлем.

Ее взгляд вбирал в квартире все, хотя ее тело старалось скрыть ощущение

своей неуместности здесь и сжималось на предложенном ей стуле, застывая в неподвижности, словно снятое гостем пальто, которое остается лежать там, где его бросили.

■

— Вы коллекционируете?

— Это образцы. Они нужны мне для работы.

— Мой брат прежде коллекционировал. Бутылочки. С виски и коньяком. Отовсюду. Из разных стран.

Когда он второй раз пригласил ее выпить кофе и начал его молоть, она сказала:

— Вы всегда это делаете? Когда варите кофе?

— Ну разумеется. Вам не нравится? Слишком крепко?

— Просто я не привыкла. Мы покупаем его готовым. Ну, знаете, в бутылке. И доливаем в молоко или кипяток.

Он засмеялся и сказал наставительно:

— Так это же не кофе. Подделка, для запаха. У меня на родине мы пьем только настоящий кофе, и всегда свежесмолотый.

Чувствуете, как он благоухает, когда его мелют?

■

В вестибюле ее остановил швейцар и спросил, что ей тут нужно. Прижимая к груди пакеты, наглядно подтверждающие правдивость ее слов, она сказала, что работает в семьсот восемнадцатой квартире на седьмом этаже. Швейцар ничего не сказал, когда она пошла к лифту для белых. Ведь все-таки она не черная, а из семьи с очень светлой кожей!

В одном из списков он написал «серая пуговица для брюк», и, выкладывая пакеты из взятой в универсаме сумки, она сказала:

— Ну так дайте мне штаны. Сейчас.— И, сидя с ними на его диване, как всегда шершавом от рассыпанного трубочного табака, она втыкала иглу и продергивала нитку по четырем дырочкам пуговицы уверенными и выразительными движениями правой руки, которые возмещали бедность и скованность ее речи. Улыбаясь, она открывала крестьянский, деревенский (определил он про себя) просвет между передними зубами, который ему не нравился. Но теперь, когда лицо было повернуто вполоборота, глаза сосредоточенно опущены, а нежные губы почти сомкнуты, это большого значения не имело. Он сказал, глядя, как она шьет:

— Вы хорошая девушка,— и погладил ее по плечу.

■

Каждый раз, когда они под вечер вставали с постели, она, одевшись, перестилала ее, прежде чем уйти. Однажды, неделю спустя, вечер уже наступил, а они все еще были в постели.

— Ты не могла бы остаться на ночь?

— Но моя мама,— сказала она.

— Позвони ей. Придумай что-нибудь.

Он был иностранцем. Он прожил в стране пять лет, но не понимал, что там, где она живет, домашних телефонов у людей нет. Она встала и начала одеваться. Ему не хотелось, чтобы это теплое тело обдал ночной холод улицы, и он мешал ей, отвлекая ее прикосновениями, но ничего не говорил. Когда ее тело скрылось под одеждой и она взяла пальто, он сказал:

— Но ты должна что-нибудь устроить.

— Мама, мама!— Он не понял, почему ее лицо стало испуганным, растерянным.

Вряд ли все-таки эта женщина считает свою дочку чистой и нетронутой девственницей...

— Но почему?

Она ответила:

— Ей будет страшно. Очень страшно, что нас поймают.

— А ты ничего ей не говори. Скажи только, что служишь у меня.

В этой стране, где он работал сейчас, на чердаках многоквартирных домов обычно были комнаты для прислуги, нанятой жильцами.

— Я так и сказала швейцару,— ответила она.

■

Она молола кофе всякий раз, когда, работая по вечерам, он просил сварить ему чашку. Сначала она ничего ему не готовила и только молча наблюдала, как он сам готовит простые блюда, которые предпочитал, пока не научилась делать все точно так, как ему нравилось. Она перебирала его образцы, сначала просто любуясь: «Какое красивое было бы ожерелье или кольцо!» Потом он показывал ей строение каждого из своих камней и объяснял, как они образовывались на протяжении долгой жизни Земли. Он называл минералы и рассказывал, для чего они нужны. Каждый вечер он сидел над своими бумагами и писал, писал, а потому было неважно, что они никуда не могут пойти вместе. По воскресеньям она садилась в его машину в подвальном гараже, и они уезжали за город и останавливались перекусить где-нибудь в глухом уголке Магалисберга, где никого не было. Он читал или осматривал скалы; вместе они карабкались к горным озерцам. Он учил ее плавать. Она никогда не видела моря. В воде она вскрикивала и взвизгивала, показывая просвет между зубами, как будто (подумал он) была среди своих. Иногда он обедал у кого-нибудь из сослуживцев. Она шила, слушала радио, и он, возвращаясь, находил ее уже в постели, теплую, спящую. Он обнимал ее, не говоря ни слова, и также молча она отвечала на его объятие. Однажды он одевался, собираясь на обед в своем консульстве, и, глядя, как он

смахивает волосы, прилипшие к плечам смокинга, который так ему шел, она представила себе огромный зал в сиянии люстр и под ними людей, танцующих какой-то танец из исторического фильма — рука об руку, величаво. Она подумала, что, наверное, он заедет за своей дамой и та сядет в машину на ее место. Они не целовались на прощанье, когда кто-нибудь из них уходил, но на этот раз, прежде чем взять сигареты и ключи, он неожиданно остановился и сказал ласково:

— Не скучай.— И добавил:— А почему бы тебе не навестить своих, раз мне надо уйти вечером?

Он говорил ей, что после рождества уедет к матери в родные леса и горы вблизи границы с Италией (он показал ей на карте). Она не говорила ему, что ее мать, не зная, что доктора бывают разные, решила, будто он врач, а потому она рассказывала матери про детей доктора и про жену доктора, очень добрую даму, которая очень рада, что кто-то не только убирает квартиру, но и помогает в приемной.

Она удивлялась его способности работать далеко за полночь после целого дня на службе. А она вставала из-за кассы в универсаме такой усталой, что начинала засыпать еще за ужином. Он объяснил, стараясь, чтобы ей было понятно, что работа кассирши однообразна, не требует никаких умственных или физических усилий, не пробуждает мыслей, а потому ничего ей не дает, его же работа для него — самое интересное в жизни, она заставляет его напрягать все внимание, пускать в ход все умственные способности и постоянно вознаграждает его, предлагая все новые и новые увлекательные задачи, а не только удовлетворение от найденных верных решений. Позже он сказал, отложив бумаги и прервав долгое молчание:

— А какую-нибудь другую работу ты пробовала?

— Раньше я работала на швейной фабрике,— сказала она.— Спортивные рубашки, знаете? Но в магазине больше платят.

Он добросовестно читал газеты тех стран, в которых жил, и, конечно, знал, что предприятиям розничной торговли в этой стране лишь совсем недавно было разрешено нанимать цветных, а потому даже место за кассой знаменовало

продвижение вверх. Если же на подобные профессии по-прежнему не будет хватать белых, то у такой девушки появляется надежда еще чуть-чуть продвинуться, уже в категории служащих. Он начал учить ее печатать на машинке. Он понимал, что по-английски она говорит не слишком свободно, но ему, иностранцу, ее акцент не резал слуха и не напоминал, кто она такая, как напоминал бы человеку его образования и положения, чьим родным языком был бы английский. Он поправлял ее грамматические ошибки, но не замечал других, не столь очевидных, так как сам иной раз оказывался повинен почти в тех же грехах. И потому, что он был иностранцем (хотя и необыкновенно умным, как ей представлялось), она меньше смущалась из-за слов, в правописании которых путалась, когда печатала их. Сидя за машинкой, она думала о том, как будет перепечатывать его заметки, а не только варить ему кофе по его вкусу и молча обнимать его в постели или даже ехать в его машине (Пусть только по безлюдным воскресным улицам), сидя рядом с ним.

■

Однажды летним вечером незадолго до рождества (он уже купил и спрятал немножко слишком броские, но дорогие часы, которые, по его мнению, должны были ей понравиться) раздался стук в дверь, заставивший ее выбежать из ванной, а его — вскочить из-за рабочего стола. По вечерам к нему никто никогда не приходил: у него не нашлось бы друзей столь близких, чтобы навестить его без предупреждения. Стук был громким, требовательным, непрерывным, и стало ясно, что положить ему конец можно, только открыв дверь.

Она стояла на пороге ванной и глядела через коридор в большую комнату, на него. Большое мохнатое полотенце не закрывало ее плеч и босых ног. Она не сказала ни слова, даже ничего не прошептала. Вся квартира словно содрогалась от неторопливых, размеренных ударов.

Он, наконец, сделал движение в сторону коридора, но она кинулась к нему, ухватилась за него обеими руками и отчаянно замотала головой. Ее губы раскрылись, но зубы были стиснуты, и она ничего не сказала. Втащив его в спальню, она схватила что-то из лежавшей на кровати стопки чистого белья, прыгнула в стенной шкаф и сунула ему в руку ключ. Хотя по рукам и но-

гам у него бегали холодные мурашки, ему стало противно и стыдно при виде того, как она забилась за его костюмы и пальто. Это было отвратительно, нелепо.

— Выйди оттуда, — сказал он вполголоса. — Так невозможно! Выходи.

— Куда? — прошептала она. — Куда мне деваться?

— Неважно! Вылезай же!

Он протянул руку, чтобы вытащить ее. Затравленно, на пределе отчаяния она прошептала, показав щель между зубами:

— Я выброшусь в окно.

Она насильно сунула ему в руку ключ, словно рукоятку ножа. Он закрыл дверцу перед ее лицом, с силой повернул ключ в замке и опустил его в карман брюк, где лежала мелочь.

Сняв цепочку, он повернул ребристую ручку английского замка. Трое полицейских, двое из них в штатском, стояли перед дверью с терпеливым видом, словно это не они стучали в нее несколько минут. Крупный брюнет с пышными усами протянул руку, на которой поблескивал позолоченный перстень, и показал какое-то удостоверение.

Доктор фон Лейнсдорф спросил негромко, чувствуя, как к его рукам и ногам вдруг прихлынула кровь:

— В чем дело?

Им известно, сказал сержант, что здесь находится цветная девушка.

— Я знаю это, я слежу за вашей квартирой три месяца.

— Кроме меня, тут никого нет, — сказал доктор фон Лейнсдорф, не повышая

голоса.

— Я знаю, я знаю, кто здесь. Пошли...

Сержант и его помощники осмотрели гостиную, кухню, ванную (где сержант, взяв флакон с лосьоном для освежения кожи после бритья, внимательно изучил французскую этикетку) и направились в спальню. Помощники переложили стопку чистого белья с кровати на стул, завернули одеяло, сдернули простыни и подали их сержанту, а он начал рассматривать их под лампой. Они переговаривались на африкаанс, которого доктор фон Лейнсдорф не понимал.

Сержант сам заглянул под кровать и приподнял длинную оконную занавеску. Убедившись, что стенной шкаф (у которого не было ручек) заперт, он что-то сказал на африкаанс, но потом вежливо перешел на английский:

— Дайте нам ключ.

Доктор фон Лейнсдорф ответил:

— Мне очень жаль, но я забыл его у себя на работе. Я всегда по утрам все запираю и ключи беру с собой.

— А, бросьте! Давайте ключ.

Он снисходительно улыбнулся.

— Но ключ лежит в столе в моем рабочем кабинете.

Помощник достал отвертку, и он смотрел, как они вставили ее между дверцами и нажали резко, но не сильно. Замок щелкнул.

Когда они начали стучать в дверь, она вышла из ванны голой. Но теперь на ней были джинсы и рубашка с длинными рукавами, открытым воротом и узором из бабочек на левой стороне груди. Ноги у нее по-прежнему были босыми. В темноте и тесноте она кое-как сумела надеть вещи, которые схватила с кровати, но туфель она не взяла. По-видимому, она плакала (на щеках остались следы слез), но теперь ее лицо было насупленным и она тяжело дышала: ее грудь под рубашкой вздымалась, диафрагма судорожно сокращалась. Из-за этого она выглядела рассерженной, но, возможно, в шкафу попросту было душно и она старалась отдышаться. Она не смотрела на доктора фон Лейнсдорфа. И не отвечала на вопросы сержанта.

Их забрали в участок, и там их отдельно осмотрел полицейский врач. Его белье, как раньше простыни, забрали, чтобы сделать анализ. Когда ее раздели, выяснилось, что под джинсами на ней надеты мужские трусы с фамилией доктора фон Лейнсдорфа на аккуратно пришитой метке прачечной. В спешке она схватила их вместо своих.

Теперь, стоя перед полицейским врачом в мужских трусах, она заплакала.

Он вежливо не обратил на это внимания и, передав трусы, джинсы и рубашку за дверь, сделал ей знак лечь на высокий, покрытый белой простыней стол. Он раздвинул ее ноги, положил их на упоры, ввел ей внутрь твердый холодный инструмент

и начал его развинчивать все шире и шире. Ее ноги и бедра сотрясала неудержимая дрожь, а врач осматривал ее, брал другие инструменты и марлевые тампоны.

Когда она вышла из этой комнаты в приемную, доктора фон Лейнсдорфа там не было. Его, по-видимому, куда-то увезли. Остаток ночи она провела в камере, как, наверное, и он, но рано утром ее отпустили, и какой-то белый отвоз ее домой к матери. Он объяснил, что он — помощник адвоката, которого нанял для нее доктор фон Лейнсдорф. Сам доктор Лейнсдорф, сказал он, тоже был утром отпущен под залог. Но он ничего не сказал о том, увидит ли она снова доктора фон Лейнсдорфа.

■

Он и она предстали пред судом по обвинению в нарушении закона о нравственности, совершенном ими в йоханнесбургской квартире... декабря 19.. года, и судье были вручены показания, которые девушка дала полиции: «Я жила у этого

белого мужчины в его квартире. Иногда он совершал со мной половой акт. Он давал мне таблетки, чтобы я не забеременела».

Репортерам воскресных газет девушка сказала: «Я сожалею о горе, которое причинила моей матери». Она сказала, что ее мать работает в прачечной и их, детей, у нее девять. Она ушла из школы после третьего класса, потому что у них не было денег, чтобы купить гимнастический костюм и школьную форму. Она работала швеей на фабрике и кассиршей в универсаме. Доктор фон Лейнсдорф учил ее перепечатывать на машинке его заметки.

Доктор Франц-Иосиф фон Лейнсдорф, внук баронессы (как писал репортер), высокообразованный человек, участник международных минералогических исследований, сказал, что признает существование социальных различий между людьми, но, по его мнению, утверждать их законодательным путем не следует. «Даже у меня на родине человеку, принадлежащему к высшему сословию, нелегко жениться на девушке из низшего сословия».

Обвиняемые показаний не давали. В зале суда они не поздоровались и не разговаривали друг с другом. Защита ссылалась на то, что утверждение полицейского сержанта, будто они жили

как муж и жена,— не доказательство, поскольку опирается на чьи-то ничем не подкрепленные слова. (Дама с таксой? Швейцар?) Суд оправдал их, так как обвинение в том, что в ночь на ... декабря 19.. года они совершили половой акт, осталось недоказанным.

Воскресные газеты напечатали фотографию матери обвиняемой и процитировали ее слова: «Больше я не позволю моей дочери быть прислугой в доме белого мужчины».

II

Дети на ферме, пока маленькие, играют вместе, но стоит белым детям уехать в школу, и вскоре они даже на каникулах перестают играть со своими прежними товарищами. Хотя черные дети по большей части тоже как-то учатся, они год за годом отстают от своих белых сверстников. Детский язык, детские приключения у плотины, на склоне холма, среди кукурузных полей или в вельде — все это белые дети оставляют в прошлом, стоит им приобщиться к языку школы-интерната, к азарту спортивных состязаний между школами, к киноприключениям. Происходит это, когда им исполняется двенадцать-тринадцать лет, что очень удачно, так как одновременно с физическими изменениями переходного возраста черные дети легко привыкают называть недавних участников общих игр по-взрослому: «миссус» и «бааси» — молодой господин.

Только Пауль Эйзендик словно бы не понимал, что Тебеди теперь стала просто еще одной деревенской девчонкой в краале и отличается от всех прочих разве только старыми платьями его сестер, которые она донашивала. Когда он вернулся из школы-интерната на свои первые рождественские каникулы, он привез Тебеди раскрашенную шкатулку, которую сам выпилил в школьной мастерской. Правда, отдал он ей шкатулку тайком, потому что другим детям в краале подарков не приготовил. А она перед его отъездом в школу подарила ему браслет, который сплела из медной проволоки и украсила серебристыми семенами клещевины с плантации его отца. (Когда они еще играли вместе, это она научила Пауля лепить из глины волов

для их игрушечных фургонов.) В те годы даже в городах вроде того, где он учился, у мальчишек вошло в моду носить рядом с часами браслеты, сплетенные из слоновьего волоса, и всякие другие; его браслет вызвал всеобщий восторг, приятели наперебой просили достать им такие же. Их делают туземцы на ферме его отца, объяснил он и обещал, что попробует достать.

Когда в пятнадцать лет он вымахал в верзилу шести футов ростом и отплясывал на школьных вечерах с девочками из «параллельной» школы, когда он научился обхаживать, обольщать и довольно откровенно ласкать этих девочек, дочерей зажиточных фермеров вроде его отца, когда на свадьбе, куда его взял отец, он познакомился с девочкой, которая в запертом чулане позволила ему все, что только могла позволить,— когда он уже настолько покончил с детством, то все равно, уезжая домой, купил красный пластмассовый пояс и позолоченные кольца для ушей в подарок черной девочке Тебеди. Она сказала отцу, что серьги ей дала миссус за то, что она хорошо работала,— ее действительно иногда звали в дом помочь по хозяйству. Подругам в краале она сказала, что у нее есть дружок, про которого никто не знает,— далеко-далеко отсюда, на другой ферме, и они хихикали, дразнили ее и завидовали ей. В краале был мальчик, которого звали Ньямбуло, и он сказал, что тоже хотел бы купить ей пояс и серьги.

Когда сын фермера приезжал домой, она уходила подальше от краала и от своих подруг. Он шел гулять один. Они ни о чем не уговаривались, просто это была потребность, которой оба подчинялись независимо друг от друга. Он узнавал ее еще издали, а она не боялась, что его собака будет лаять на нее. В овраге, в русле пересохшей реки, где лет пять-шесть назад дети в один незабываемый день поймали геррозавра — существо, которое идеально сочетает свирепую внешность крокодила с безобидностью ящерицы,— они садились рядом на откосе. Он рассказывал ей истории о неведомом мире — о школе, о принятых в школе наказаниях, преувеличивая как их суровость, так и свое пренебрежение к ним. Он рассказывал ей о городе Миддебурге, где она никогда не бывала. Ей рассказы-

вать было нечего, но она помогала ему нескончаемыми вопросами, как помогают те, кто умеет слушать. Рассказывая, он крутил и дергал корни ив и октеи, торчавшие из растрескавшейся земли вокруг них. С давних пор дети убегали играть сюда, на дно оврага, укрытого чащей, где старые, изъеденные термитами деревья не падали, подпертые молодой порослью, а между стволами росла дикая спаржа и кое-где торчали опунции, морщинистые и колючие, точно лицо старика, высохшие, но таящие жизнь в ожидании следующего сезона дождей. Слушая его, она снова и снова протыкала острой палочкой сухой бок опунции. Она без конца смеялась тому, что он ей рассказывал, и иногда прижималась лицом к коленям, делясь весельем с прохладной затененной землей у своих ног. Когда он приезжал на ферму, она надевала белые босоножки, густо намазанные от пыли белым кремом, но здесь, в речном русле, их можно было снять и отставить в сторону.

Как-то летом под вечер, когда речка еще не совсем пересохла и было очень жарко, она пошла побродить по воде, скромно подобрав платье и заправив его снизу в трусы. Девочки, с которыми он купался у плотин или в прудах, были в бикини, но их животы и бедра, ослепительно белые в солнечном свете, никогда не вызывали у него чувства, которое он испытывал сейчас, когда она, поднявшись по откосу, села рядом с ним и капли, унизы-завшие ее темные ноги, заблестели — единственные точки света в густой пахнущей землей тени. Они не боялись друг друга, они знали друг друга всегда, и он повторил с ней то, что испробовал в запертой кладовой на свадьбе, но только теперь это было так чудесно, так чудесно... он даже удивился. И она тоже была удивлена — он видел это в ее темном лице, сливавшемся с тенью, в ее больших темных глазах, мерцающих, как тихая вода, и внимательно устремленных на него,— как тогда, когда они сидели на корточках над своими глиняными волами, как тогда, когда он рассказывал ей про воскресенья, проведенные в школьном карцере.

В эти летние каникулы они часто спускались в сухое русло. Они встречались, когда начинало смеркаться (а смеркалось быстро), и возвращались в темноте как раз к ужину: она —

в хижину матери, он — на ферму. Он больше не рассказывал ей про школу и про город. Она больше не задавала ему вопросов. Каждый раз он говорил ей, когда они встретятся снова. Раза два это было ранним утром: там, где они лежали, до них доносилось мычание коров, которых гнали на пастбище. Они узнавали этот звук, и безмолвное узнавание в глазах совсем рядом с другими глазами разделяло их.

В школе он пользовался популярностью. Сначала он играл во второй футбольной команде, а потом и в первой. Староста «параллельной» женской школы, по слухам, была влюблена в него; ему она не очень нравилась, но хорошенькую блондинку, которая укладывала свои длинные волосы пышным узлом и перетягивала их черной лентой, он водил в кино — по субботам, когда старших мальчиков и девочек отпускали из школы. Он умел управлять трактором и другими сельскохозяйственными машинами с десятилетнего возраста и, едва ему исполнилось восемнадцать, получил права, а потому во время последних школьных каникул возил соседских дочек на танцы и в кинотеатр, открывшийся в пятнадцати милях от их фермы. Его сестры к этому времени уже повыходили замуж, и родители нередко поручали ему ферму на субботу и воскресенье, а сами уезжали навестить дочерей и внуков.

Увидев, как днем в субботу фермер с женой садятся в «мерседес», загрузив багажник только что зарезанными курами и овощами с огорода (уход за которым входил в обязанности ее отца), Тебеди понимала, что идти ей надо не к речке, а в дом. Дом был старый, темный и с толстыми стенами, чтобы не так чувствовалась жара. Самым оживленным местом дома была кухня, где сновали слуги, разгружались припасы, выпрашивали подачки собаки и кошки, плескали кипятком огромные кастрюли, взбрызгивалось белье перед глажением и стоял большой морозильник, который миссус выписала из города, накрытый вязаной скатеркой и украшенный вазой с пластмассовыми ирисами. Но столовая с массивным столом на пузатых ножках была замкнута в застойном густом запахе супа и томатного соуса. В гостиной занавески были задернуты, и телевизор там молчал. Дверь в спальню родителей была заперта, а в пустых

комнатах, где прежде спали девочки, на кроватях, предохраняя их от пыли, лежала полиэтиленовая пленка. В одной из этих комнат они с сыном фермера и проводили целые ночи — то есть почти; ей ведь надо было незаметно ускользнуть до того, как с зарей в дом придут слуги, которые ее знают. Но все равно, если бы он провел ее к себе в спальню, кто-нибудь мог заметить следы ее присутствия, хотя она часто бывала в этой спальне, когда помогала в доме, и прекрасно знала, какие там стоят серебряные кубки — спортивные награды, полученные в школе.

Когда ей было восемнадцать лет, а сыну фермера девятнадцать, и он работал у отца на ферме перед тем, как поступить в ветеринарный колледж, молодой человек Ньямбуло попросил ее в жены у ее отца. Родители Ньямбуло пришли к ее родителям и условились с ними, какие деньги он заплатит вместо коров, которых по старому обычаю положено отдавать за невесту. Коров он дать не мог — их у него не было: как и ее отец, он батрачил на ферме Эйзендигов. Смышленный парень. Старый Эйзендик научил его класть кирпичи, и он то чинил что-то на ферме, то строил. Она не сказала сыну фермера, что родители отдадут ее замуж. И не сказала ему, когда он уезжал в ветеринарный колледж на первый семестр, что, наверное, у нее будет ребенок. Через два месяца после их свадьбы с Ньямбуло она родила дочь. В этом не было ничего позорного: по обычаю, молодой человек мог удостовериться до свадьбы, что избранная им девушка не бесплодна, и Ньямбуло после сговора спал с ней. Но кожа у новорожденной была очень светлой и не потемнела почти сразу же, как это бывает у большинства африканских младенцев. И ее головку покрывал легкий прямой пушок вроде того, который окутывает семена некоторых трав вельда. Мутные глазки, которые она открыла, были серые с желтыми крапинками. Глаза Ньямбуло были

матового кофейного цвета (такие глаза принято называть черными), того же цвета, что и ноги Тебеди, на которых капли воды переливались голубым перламутром, того же цвета, что лицо Тебеди, точно все состоявшее из двух черных глаз с чистыми белками и живым ясным взглядом.

Ньямбуло ничего не сказал. На свой батрацкий заработок он купил в лавке индийца картонку с целлофановым окошечком, в которой лежала розовая пластмассовая ванночка, шесть подгузников, пакетик английских булавок, вязанные ботиночки, чепчик, кофточка и банка детской присыпки — набор для дочки Тебеди.

Когда ей исполнилось две недели, Пауль Эйзендик приехал из ветеринарного колледжа на каникулы. В материнской, такой с детства привычной кухне он выпил стакан парного молока и услышал, как его мать обсуждает со старой служанкой, кого бы им взять приходящей прислужгой вместо девушки Тебеди, которая как раз родила. Впервые с тех пор, как кончилось его детство, он пришел в крааль. Было одиннадцать часов утра. Мужчины давно ушли в поле. Он торопливо посмотрел по сторонам. Женщины отворачивались — ни одна не хотела быть той, которой придется указать ему, где живет Тебеди. Однако она сама медленно вышла из дома, который ей построил Ньямбуло, как строят белые: дымовая труба из жести и настоящее окно со стеклами, вставленными настолько аккуратно, насколько позволяли стены, сложенные из необожженного кирпича. Она поздоровалась с ним, сложив руки и сделав символическое движение — начало книксена, который привыкла делать его матери и отцу. Нагнув голову под притолокой, он вошел в ее дом. И сказал:

— Покажи. Я хочу посмотреть.

Перед тем как выйти на свет навстречу к нему, она сняла со спины запеленутый сверточек. Теперь она прошла между железной кроватью, застеленной клетчатыми одеялами Ньямбуло, и небольшим деревянным столом, на котором среди тарелок с едой и кухонной посуды стояла розовая пластмассовая ванночка, и вынула сверток из фанерного ящика, заботливо устланного одеяльцами. Младенец спал; она приоткрыла пухленькое розовое личико, уголок крохотного рта с пузырьком слюны и тоненькие розовые ручонки, которые чуть-чуть шевелились. Она сняла шерстяной чепчик, и прямые волосики, поднятые статическим электричеством, встали дыбом, там и сям отливая светлым золотом. Он молчал. Она не сводила с него

глаз, как в дни их детства, когда орава ребятишек во время игры портила посадки или еще как-то нарушала правила и заступиться за них мог только он, единственный белый среди них, сын фермера. Она разбудила девочку, пощекотав ее ногтем по щеке, и глазки медленно открылись, ничего не увидели, полные сна, а потом пробудились, раскрылись пошире и поглядели на них — серые, с желтыми крапинками, его собственные серые с желтыми крапинками глаза.

Несколько секунд он боролся со слезами, гневом и жалостью к себе. Она не могла протянуть к нему руку. Он сказал:

— Ты с ним к дому не подходила?

Она покачала головой.

— Ни разу?

Она снова покачала головой.

— Не выходи с ним наружу. Оставайся здесь. Ты не можешь его куда-нибудь увезти? Ты должна отдать его кому-нибудь...

Она пошла к двери вместе с ним.

Он сказал:

— Я подумаю, что мне сделать. Я не знаю.— И добавил:— Прямо хоть руки на себя наложить.

Ее глаза замерцали, наполнились слезами. На мгновение между ними возникло то чувство, которое охватывало их, когда они встречались в пересохшем ложе реки.

Он ушел.

Два дня спустя, когда его отец и мать уехали на весь день, он пришел снова. Женщины были в полях — летом их временно нанимали на прополку,— и в краале остались только древние старики и старухи, которых усадили на солнцепеке среди роящихся мух. Тебеди не пригласила его в дом. Она сказала, что маленькая больна — у нее понос. Он спросил, где стоит ее еда.

— Она пьет мое молоко,— сказала Тебеди.

Он вошел в дом Ньямбуло, где лежала девочка, но Тебеди не пошла за ним, а осталась снаружи, невидящими глазами глядя на сумасшедшую дряхлую старуху, которая разговаривала с курами, а те не обращали на нее внимания.

Ей показалось, что в доме послышалось посапывание — так посапывают младенцы, когда засыпают, наевшись. А потом —

она не знала, много или мало миновало времени,— он вышел, направился к дому, шагая широко, как его отец, и скрылся из виду.

Ночью она не кормила маленькую, и, хотя говорила Ньямбуло, что девочка спит, утром он увидел, что она лежит мертвая. Он попробовал утешить Тебеди словами и ласками, но она не плакала, а просто сидела и смотрела на дверь. Ее руки в его руках были холодными, как куриные лапы.

Ньямбуло похоронил девочку там, где хоронили обитателей краала — в уголке вельда, который отвел им для этого фермер. Одни могильные холмики осыпались, ничем не помеченные, другие были обложены камнями, а на двух-трех валялись упавшие деревянные кресты. Он собирался поставить на могилке крест, но еще не успел его сделать, как приехала полиция, выкопала маленькую и забрала с собой. Кто-то (один из батраков? одна из женщин?) донес, что ребенок родился почти белым, что он был здоровый и крепкий, но вдруг умер после того, как в дом заходил сын фермера. Вскрытие обнаружило повреждения в кишечнике, не всегда сопровождающие смерть от естественных причин.

Тебеди впервые поехала в город, где Пауль еще недавно учился в школе, потому что ей надо было давать показания на предварительном разбирательстве выдвинутого против него обвинения в убийстве. Давая эти показания, она истерически рыдала: да-да (позолоченные кольца в ее ушах дергались и тряслись) , она видела, как обвиняемый что-то вливал в рот маленькой. Она сказала, что он пригрозил застрелить ее, если она кому-нибудь расскажет.

Прошло больше года, прежде чем в том же городе состоялся суд. Она явилась в зал суда с новорожденным младенцем за спиной. В ее ушах болтались позолоченные кольца, она была совершенно спокойна и сказала, что не видела, что делал в доме молодой хозяин.

Пауль Эйзендик сказал, что в дом он заходил, но младенца не отравлял.

Защита не отрицала, что между обвиняемым и свидетельницей была любовная связь, тем не менее, подчеркнул адвокат,

нет никаких доказательств, что отцом ребенка был он.

Судья объявил обвиняемому, что подозрения против него весьма серьезны, но достаточно веских доказательств его преступления нет. Показания женщины во внимание приняты быть не могут, поскольку она либо лжесвидетельствует сейчас, либо лжесвидетельствовала на предварительном разбирательстве. По мнению суда, не исключено, что она могла быть сообщницей, но опять-таки доказательства этого отсутствуют.

Судья отметил достойное поведение мужа (явившегося на суд в клетчатой желто-коричневой спортивной кепке, купленной для праздников), который не отринул жену и «даже приобрел из своих скудных средств необходимые вещи для злополучного младенца».

Присяжные вынесли вердикт «невиновен».

Молодой человек отказался принять поздравления публики и прессы и вышел

из зала, заслоняя лицо от фотографов плащом своей матери.

Его отец сказал репортерам:

— Я постараюсь по мере возможности все так же высоко держать голову у себя в округе.

Репортерам воскресных газет, которые все написали ее имя по-разному, молодая черная женщина сказала на своем языке — эту фразу поместили под ее фотографией:

— Тогда мы были детьми. Теперь мы больше не видимся.

Изустная история

В деревне Дилоло всегда был один дом, такой, как у белых. Построенный из кирпича и с крышей, от которой отскакивали лучи солнца. Она блестела за деревьями мопане, как блестят жестянки из-под керосина на голове женщин, идущих с водой от реки. Остальные дома в деревне были слеплены из серой речной глины, отглажены ладонями, крыты тростником и укреплены мопаневыми жердями, с которых листья содрали, как чешую с рыбы.

Это был дом деревенского вождя. У некоторых деревенских вождей кроме дома есть еще и автомобиль, но для этого нужно быть поважнее, нужно, чтобы твой клан был побольше, однако обычное пособие от правительства он получал. Если бы правительство все-таки дало ему и машину, он не знал бы, что с ней делать. К деревне не ведет никакой дороги, и «лендроверы» армейских патрулей гонят напрямик через мопаневый подлесок, распугивая деревенский скот, точно антилоп. Деревня стояла на этом месте уже очень давно. Дед вождя был вождем дедов жителей деревни, а его имя было таким же, как имя того вождя, который махнул своим воинам, чтобы они опустили ассегаи (*африканское боевое копье), и принял первую библию от белого из шотландской миссии. «Ищите и обряцете»,— говорили миссионеры.

Деревенские жители в этих местах уже не смотрят вверх, когда у них над головой дважды в день проносятся военные самолеты, похожие на рогатки. Только коршуны-рыболовы взлетают с пронзительным криком и, поворачивая настороженные головы, устремляются в небо, в свои владения, куда вторглись

чужаки. Мужчины, уходившие подработать на рудники, умеют читать, но газет в деревне нет. По радио передают правительственные подсчеты — сколько армейских грузовиков взорвано, сколько белых солдат похоронено «с воинскими почестями»: это что-то такое, что белые, по-видимому, делают со своими покойниками.

У вождя был радиоприемник, и он умел читать. Он прочел старейшинам деревни письмо правительства, в котором говорилось, что всякий, кто прячет или снабжает продовольствием и водой людей, воюющих с армией правительства, будет заключен в тюрьму. Он прочел им другое письмо правительства — о том, что в целях охраны деревни от людей, которые убегают за границу и возвращаются с винтовками, чтобы убивать деревенских жителей и сжигать их хижины, всякий, кто после захода солнца окажется в лесу, будет убит на месте. Впрочем, многие молодые парни, которые, отправившись в соседнюю деревню поухаживать за девушками или выпить, могли бы задержаться там до темноты, давно уже не жили дома под опекой отцов. Молодежь всегда уходит: раньше она уходила на рудники, а теперь — писали газеты — за границу, чтобы научиться воевать. Сыновья уходили с расчистки, где стояли глинобитные хижины,— они шли мимо дома вождя, мимо детей, играющих со сплетенными из проволоки полицейскими «лендроверами». Дети кричали им: «Куда вы идете?» Молодые парни не отвечали и не возвращались назад.

В деревне была церковь, построенная из мопаневых жердей и глины, с

мопаневым шестом, чтобы поднимать белый флаг, когда кто-нибудь умирал. Заупокойная служба была примерно той же самой протестантской службой, которую миссионеры привезли из Шотландии, с добавлением древнего ритуала, отдающего нового покойника под защиту предков. Женщины, с лицами, вымазанными белым, причитая, провожали его на тот последний суд, о котором рассказывали миссионеры. Детей крестили, давая им имена, которые выбирали матери согласно знамению, полученному от старика, умеющего читать неизменную волю судьбы по костяшкам, выброшенным из роговой чашечки, как игральные кости. Каждый праздник и почти каждый

субботний вечер устраивалось пивопитие, на котором присутствовал вождь. Для него из его дома приносили стул с высокой спинкой, хотя все остальные удобно устраивались на земле, и первую пробу ему подавали в старинной изукрашенной тыкве (остальным пиво наливалось в консервные банки из-под тушеной фасоли и сардин) — таков обычай деревни.

И у племени, к которому принадлежит клан, и во всей огромной области, к которой принадлежит племя, от Матади на западе до Момбасы на востоке, от Энтеббе на севере до Эмпангени на юге, есть еще один обычай: всякий, кто придет на пивопитие, считается желанным гостем. Ни одного путешественника, ни одного странника не спросят, откуда он и кто он такой: спустился ли он в пироге по реке или проехал по зарослям мопане много миль, оставляя змеиный след велосипедных шин на песке, выдавая свое приближение — если собаки заснули у кухонных костров, если дети убежали от своих самодельных шоссе — только шорохом рассыпающихся листьев. Далеко по обе стороны границы у Дилоло все имеют черную кожу, все говорят на одном языке и подчиняются одному закону гостеприимства. До того как правительство начало стрелять в людей по ночам, чтобы помешать молодым парням уходить, когда все спят и некому спросить: «Куда ты идешь?» — люди и по десять миль проходили от одной деревни до другой, чтобы побывать на пивопитии.

Однако теперь незнакомые люди стали редкостью. Если свет костра падал на такое лицо, оно отодвигалось в темноту. И никто его не замечал. Даже самый младший из детей, не сводивший с него глаз, только крепче прижимался к чьим-нибудь коленям и удивленно выпячивал пухлые детские губы, не открывая зубов, словно на его рот легла невидимая взрослая ладонь. Молоденькие девушки хихикали и кокетничали, держась в сторонке, как велось по обычаю. Люди постарше не спрашивали про родственников или друзей в других деревнях. Вождь, казалось, все лица видел одинаковыми. Он смотрел на стариков, и они ощущали его взгляд.

Как-то утром, выйдя из задней двери своего кирпичного дома на оттертое песком бетонное крыльцо, он окликнул одного из

старейшин. Тот проходил мимо со своими неторопливыми коровами и блеющими козами и остановился полуобернувшись, словно собирался тут же пойти дальше своей дорогой. На вожде, как и на старейшине, была потрепанная рубаха без ворота и старые брюки, но он никогда не ходил босой. В руке с большими стальными часами на запястье он держал очки в толстой оправе. Пальцами другой руки он зажал нос и высморкался. Он двигался с властной уверенностью человека, чья мужская сила еще не пошла на убыль, но глаза его моргали от солнечного света, и в их уголках налипли белесые комочки. После приветствий, принятых между вождем и старейшиной, его сверстником, вместе с которым он когда-то уже как мужчина вышел из мопа-невой рощи, где они и другие юноши их возрастной группы скрывались положенный срок после обрезания, вождь сказал:

- Когда твой сын думает вернуться?
- Я не получал никаких известий.
- Он завербовался на рудник?
- Нет.

— Он ушел на табачную ферму?
— Он ничего нам не сказал.
— Ушел искать работу и ничего не сказал матери? Что это за сын? Разве ты ничему его не учил?

Козы принялись за три горбатых куста — все, что осталось от живой изгороди вокруг дома вождя. Старейшина достал круглую жестянку с вмятинами от детских зубов и, стараясь не просыпать ни порошинки табака, взял понюшку. Он махнул на коз и сказал, словно прося разрешения:

— Они съедят твой дом,— и шагнул, готовясь гнать их даль— Тут давно уже нечего есть.— Вождя не интересовала изгородь, которую посадила его старшая жена, в свое время учившаяся в миссионерской школе выше по реке. Он спустился с крыльца, постоял среди коз, как будто собираясь продолжать расспросы. Потом повернулся, точно по собственной команде, и пошел назад, к себе во двор. Старейшина глядел ему вслед, словно бы собираясь что-то сказать ему вдогонку, но вместо это-

го погнал свою скотину дальше, покрикивая на нее громче и чаще, чем требовалось.

В деревню время от времени приезжал патрульный «лендро-вер». Никто не мог наперед сказать, когда он придет в следующий раз: отсчитывать дни, как между приездами сборщика налога или человека, который чем-то мазал коров, смысла не имело — «лендровер» возвращался, когда возвращался. Однако его можно было услышать за несколько минут, потому что он продирался сквозь мопаневую чащу с треском, как испуганный бык, а позади него висел хвост пыли, показывая, откуда он едет. Прибегали дети и предупреждали. Женщины обходили хижины. Одной из жен вождя доставалась важная роль вестницы: «К тебе едет правительство». И он уже стоял на крыльце, когда из «лендровера» выпрыгивал черный солдат (бормоча положенное вождю приветствие на их родном языке) и открывал дверцу белому солдату. Белый солдат заучил имена всех местных вождей. Он здоровался с обычной резкостью белых: «Все в порядке?» И вождь повторял вслед за ним: «Все в порядке». — «Никто в этой деревне вас не тревожит?» — «Никто нас не тревожит». Но белый солдат делал знак своим черным подчиненным, и они осматривали одну за другой хижины, все там переворачивая, точно жены, когда они затевают уборку: скатывали постели, тыкали прикладами в кучи золы и мусора, где рылись куры, и даже заглядывали, ослепленные темнотой, в хижину, в которой приходилось запираť потерявшую разум старуху. Белый солдат ждал их, стоя возле «лендровера». Он рассказывал вождю о том, что происходило недалеко от деревни. Совсем, совсем недалеко. Дорогу в пяти километрах отсюда взорвали.

— Кто-то закладывает под дорогу мины, и не успеваем мы кончить ремонт, как ее снова взрывают. Эти люди перебираются через реку и проходят здесь. Они ломают наши машины и убивают наших людей.

И собравшиеся вокруг покачивали головой, словно перед ними разложили искалеченные тела погибших.

— Они и вас поубивают — сожгут ваши хижины и вас вместе с ними, если вы дадите им приют.

— Ай-ай-ай! — запричитала какая-то женщина, отвернув лицо.

Белый обвел их указательным пальцем:

— Запомните, что я вам говорю! Вот сами увидите.

Последняя жена вождя, взятая всего год назад из одной возрастной группы с его старшими внуками, не вышла послушать белого. Но она услышала от других, что он говорил, и, яростно втирая жир себе в ноги, спросила у вождя:

— Почему он хочет, чтобы мы умерли, этот белый?

Ее муж, который только что был страстным любовником, сразу же стал одним из

важных стариков, которые ее не замечали и с которыми она не смела спорить.

— Ты говоришь о том, чего не понимаешь. Не произноси слов попусту.

Чтобы наказать его, она схватила на руки сына, которого родила ему, крепенького младенца юной матери, и вышла из комнаты, где спала с ним на большой кровати,— ее привезли по реке на барже до того, как армейские пулеметы были наведены на тот берег.

Он пошел к хижине своей матери. Там этот пожилой мужчина, которого слушались жители деревни, к которому обращалось правительство, когда хотело получить налоги или добиться выполнения очередных приказов, был просто сын — вневременная категория, не зависящая от того, в какую возрастную группу он переходил на протяжении жизни матери или своей. Старуха совершала туалет, осев всем грузным телом на тростниковой циновке, расстеленной перед дверьми. Он пододвинул себе табурет. В небольшом зеркале в розовой пластмассовой рамке, вделанной в такую же подставку, он увидел отражение своего наморщенного лица. Рядом лежали большой черный гребень и резная шкатулочка, выложенная красными бобами, которые приносят счастье,— эту шкатулочку он выпрашивал у нее поиграть пятьдесят лет назад. Он ждал не столько из уважения, сколько с тем равнодушием ко всему вне их взаимной общности, которое чувствуется во львах, когда они ложатся отдыхать бок о бок со своими родичами.

Она бросила на него внимательный взгляд, и оттянутые мочки ее ушей качнулись пустыми петлями. Он не стал говорить, для чего пришел.

Она выбрала в шкатулочке крохотную костяную ложечку и принялась осторожно и тщательно очищать по очереди круглые ямки расширенных ноздрей. Потом счистила засохшую слизь и пыль со своего хрупкого инструмента, отбросила комочки в сторону от того места, где сидел он, и сказала:

— Ты знаешь, где твои сыновья?

— Да, я знаю, где мои сыновья. Трех ты видела сегодня здесь. Двое в миссионерской школе. А маленький — он с матерью.

Это было сказано с гордостью, с легкой улыбкой, но старуха не отозвалась на нее. В ее-то отношении к внукам такого рода гордость роли не играла.

— Хорошо. Можешь радоваться этому. Но не спрашивай других людей об их сыновьях.

И — как часто бывает, когда люди одной крови думают об одном и том же,— на мгновение мать и сын стали удивительно похожи: в нем появилось что-то старушечье, а в ней что-то мужское.

— Если тех, кого мы знаем, нет, то их места не всегда остаются пустыми,— сказал он.

Она задумалась. Потом грузно откинулась и посмотрела на него:

— В прошлые времена все дети были нашими детьми. Все сыновья — нашими сыновьями. Люди тут старомодные.— Последнее слово, жестко сказанное по-английски, вылетело из их родного языка, точно камешек, и упало там, куда было нацелено,— у его ног.

■

Была весна. Листья мопане, высыхая и опадая, пятнали песок кровью и ржавчиной — наверное, с патрульных самолетов земля выглядела как поле боя. В августе до дождей остается еще два месяца. Ничто не растет, только плодятся мухи. Каждый день тонет в жаре, и ночь без единого дуновения ветерка хранит ее до следующего утра. В эти ночи голос радио в доме

вождя звучал так ясно, что разносился по всей деревне. В зарослях солдаты хватали и убивали многих («разыскивали и уничтожали» — так теперь говорили белые), и много солдат попадало в засаду или взлетало на воздух в грузовиках, и их хоронили с воинскими почестями. Продолжаться так должно было до октября: люди в

зарослях знали, что это их последняя возможность сразиться до того, как начнутся дожди и грязь скует им ноги.

В такие жаркие ночи никто все равно не может спать, пивопитие затягивается допоздна. Люди пьют больше, и женщины, зная это, варят больше пива. Костер горит, но никто не сидит возле него.

В новолуние темнота кажется густой от жары, а в полнолуние темнота серебрится над рекой жарким миражем. Черные лица отливают голубизной, на щеках и бицепсах поблескивают влажные полосы. Вождь расположился на своем стуле и, несмотря на жару, был в носках и туфлях: те, кто сидел ближе к нему, ощущали запах страдания, исходивший от его ног. Он различал очертания подбородков и губ в потоках лунного света, льющего ночных бабочек, вырвавшихся из белых коконов на деревьях мопане, льющего тучи moskitov, налетающих с реки, льющего сияние, точно лучи света на религиозных картинках, которые раздают миссионеры,— последнее время он видел эти лица и в дерзкой смелости дня. Зарезали быка, и по деревне плыл запах жареного мяса (только взгляните на собак — уж они-то знают!), хотя не было ни свадьбы, ни другого праздника, для которого резать быка обязательно. Когда вождь позволил себе посмотреть в глаза чужака, белки, прежде ясно различимые под косым углом, вдруг исчезли, и он не столько увидел, сколько почувствовал пристальный взгляд этих глаз, такой мужественный, такой убежденный, такой требующий и властный. Он допустил это только один раз. А так он видел лишь надменно вздернутые подбородки, повернутые друг к другу, когда они пили, и улыбки, которыми воины улыбаются девушкам. Дети тянулись к ним и молча дрались за местечко поближе. Около полуночи (его часы тоже светились, как звезды) он встал со стула и уже не вернулся из глубокой тени, куда люди уходили

помочиться. С пиво питий вождь нередко уходил домой, когда другие еще пили.

Он пошел в свой кирпичный дом под крышу, которая блестела почти как от солнца. Но он не пошел в комнату, где на большой кровати спали его последняя жена и шестой сын, а просто вывел из кухни стоявший там велосипед кого-то из своих прихлебателей — то ли родственника, то ли соседа. Он покатил его к краю расчистки, где кончались хижины — его деревня и деревня его деда быстро исчезла позади него в деревьях мопане,— и поехал по песку. Он не боялся, что встретит патруль и будет застрелен. В лесу на песке, ночью, один среди заросшей деревьями пустыни, которую он знал до начала своей жизни и будет знать после ее конца, он не верил, будто солдаты правительства могут оборвать эту жизнь. Ехать было трудно, но в юности он умел хорошо ездить по этой единственной знакомой ему местности, и прежняя сноровка скоро вернулась к нему. Через час он добрался до армейского поста, крикнул, кто он такой, часовому с пулеметом и должен был ждать — как нищий, не как вождь,— чтобы ему разрешили подойти ближе и дать себя обыскать. Дежурили черные, но они разбудили белого. Того самого, который знал его имя, его клан, его деревню — так теперь учили белых. Он как будто сразу понял, зачем приехал вождь. Сосредоточенно хмурясь, чтобы не упустить ни одной подробности, он открыл рот в улыбке, и кончик его языка изогнулся, касаясь задних зубов,— так человек, перечисляя для проверки факты, загибает пальцы.

— Сколько их?

— Шесть, или десять, или... но иногда всего три или один... Я не знаю. Один пришел и ушел. Потом они снова приходят.

— Они забирают припасы, они спят и уходят. Да. Они заставляют людей давать им то, в чем они нуждаются, э? И ты знаешь, кто их прячет, кто показывает им, где спать,— уж конечно, ты знаешь.

Вождь сидел на стуле в этом доме, в доме армии, а белый солдат стоял.

— Кто их...— вождю было трудно выразить по-английски то, что он хотел сказать, у него возникло ощущение, что гово-

рит он не то и понимают его не так.— Я не могу знать, кто...— Рука беспокойно пошарила, он задержал дыхание, потом глубоко вздохнул.— В деревне много людей. Если это один или другой...— Он умолк, покачивая головой, чтобы напомнить белому о своем высоком положении, и белый солдат поспешил загладить свой промах.

— Конечно, конечно. Это неважно. Они запугивают людей, люди боятся сказать им «нет». Они убивают тех, кто говорит им «нет», отрезают им уши, э? Вы про это знаете. Отрывают им губы. Вы ведь видели фотографии в газетах?

— Мы их не видели. Я слышал, что говорит правительство по радио.

— Они еще там... Давно? Час назад?

Белый солдат взглядом остановил всех других, чьи тела напряглись, готовые броситься вперед, схватить оружие, выбежать за дверь и вскочить в «лендроверы», стоящие там, в темноте, под охраной. Он взял телефонную трубку, но прикрыл ее рукой, словно ждал от нее возражений.

— Вождь, я сейчас к тебе приду... Отведите его в дежурку и сварите кофе. Минуточку...— Он перегнулся к ящику конторки слева от стола, поскреб пальцами, открыл его и вытащил наполовину опорожненную бутылку коньяка. За спиной вождя он указал на него и на бутылку, и черный солдат послушно схватил ее.

■

Позже в ту же ночь вождь приехал в деревню своей родственницы — еще дальше за армейским постом. Он сказал, что был на пивопитии и не мог поехать домой из-за комендантского часа белых.

Провожая его, белый солдат объяснил, что ему лучше не быть в деревне во время арестов, так чтобы его никто не заподозрил в причастности к ним,— тогда можно не опасаться, что ему отрежут уши за то, что он послушался правительства, и изуродуют губы за то, что он сообщил.

Родственница дала ему одеяло. Он спал в хижине ее отца. Глухой старик так и не узнал, что он приезжал, а потом уехал рано поутру, когда вчерашняя луна величиной с отражатель его

велосипеда еще блестела в небе. В лесу велосипед проехал мимо долгоногов, не потревожив их, роса еще воняла шакальим пометом. Над его деревней уже поднимался дым: разводились костры для утренней стряпни. Потом он понял, что дым — черные частички, бьющие ему в лицо,— поднимается не от утренних костров. Он сильно работал ногами, преодолевая сопротивление песка, но велосипед словно замедлял ход, как замедлялись его мысли, и каждый оборот колес, казалось, требовал остановиться, не ехать дальше. Однако он увидел то, что ему было суждено увидеть. Ночью налетели самолеты, на которые теперь никто, кроме детей, и не смотрел, и сбросили что-то страшное и живое — настолько страшное, что никакие описания, ни печатные, ни устные, не способны вызвать соразмерный ему ужас. Сперва он увидел кровавый обрывок накидки из шкуры, а потом собаку, повисшую на корнях вывороченного дерева. Казалось, земля под деревней лопнула и отшвырнула все, что на ней было: хижины, горшки, тыквы, одеяла, жестяные сундучки, будильники, рыночные фотографии, велосипеды и башмаки, привезенные с рудников, куски ярких тканей, которыми молодые жены обматывали голову, красивенькие картинки с белыми ягнятами и розовыми детишками у колен златовласого Христа (их раздавали шотландские миссионеры, когда только-только обосновались тут) — вся жизнь клана на протяжении пяти поколений, о которой, событие за событием, каждое поколение рассказывало следующему. Хижины провалились внутрь, как разоренные термитники. В скорлупе глиняных стен, обожженных и вычерненных огнем, лежала зола, оставшаяся от кровли и опорных столбов. Он кричал и, шатаясь, брел от хижины к хижине, но безумные вопли его были безответны. Даже курица не шарахнулась из-под ног. Стены его дома стояли, но он был выпотрошен и крыша покорежилась. Во дворе неподвижно лежало что-то

черное, зажарившееся на своей цепи. В одной из хижин он увидел точно так же спекшееся человеческое тело — словно костяк обмазали густой смолой. В этой хижине жила сумасшедшая старуха — когда люди убегали, они про нее забыли.

■

Среди уцелевших не было ни матери вождя, ни его молодой жены. Но младенец остался жив и будет расти под присмотром старших жен. Никому не известно, что белый солдат сказал по телефону своему начальнику и сказал ли ему начальник о том, что будет сделано, или же белый солдат сам знал это из правил ведения такой войны, которые он постигал во время своего военного обучения. Вождь повесился на дереве мопане. Полицейские, может быть солдаты (теперь это почти одно и то же, и люди их путают), нашли велосипед под его болтающимися башмаками. А потому дальний родственник все еще на нем ездит: если бы велосипед остался на своем месте в кухне, то, конечно, пропал бы во время налета. Никто не знает, где среди развалин деревни вождь отыскал веревку.

Люди начинают возвращаться на родное пепелище. Мертвых схоронили, как подобает, на кладбище предков в мопаневом лесу. В тазах и корзинах женщины носят глину с реки. Шумно болтая, они мнут ее и наращивают стены. Они идут с реки, покачивая на голове, словно перекладину буквы заглавного «Т», связки тростника длиннее их самих. В мопаневом лесу слышны голоса мужчин — они выбирают и валят деревья для опорных столбов.

Белый флаг висит на мопаневом шесте перед домом, белые стены которого, сложенные, как в домах у белых, уцелели от бывшего времени.